

The illustration is a high-contrast, black and white graphic. It depicts a scene on a bridge or walkway with a metal railing. In the foreground, five figures are shown in silhouette: a woman and a child on the left, a woman and a man in the center, and a man walking alone on the right. Behind them, a tall, slender lamppost with a decorative top stands. The background is filled with the dark, intricate branches of trees and a sky with soft, grey clouds. The overall style is reminiscent of mid-20th-century Soviet book cover art.

ЛЮДМИЛА  
УВАРОВА

*Нескучный сад*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

24 коп.











ИЗДАТЕЛЬСТВО  
// ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА //





**ЛЮДМИЛА  
УВАРОВА**

*Песчаный  
Сад*

**ПОВЕСТЬ**



**Их было пятеро, пять различных характеров, пять друзей, чья дружба, начавшись в школе, продолжала потом жить долгие годы. И вот они выросли, бывшие романтики, мечтатели, выдумщики. И настоящая, большая жизнь раскрылась перед ними, и по-разному сложились их судьбы.**

**В этой небольшой повести автор стремится передать характер поколения, тех самых юношей и девушек, которые в годы Великой Отечественной войны прямо со школьной скамьи влились в ряды Советской армии и защищали свою Родину от фашистских захватчиков.**

**РИСУНКИ О. КОРОВИНА**



1

**П**ереулок наш назывался смешно и необычно — Верхний Чудаков переулок.

Никто не знал, почему Верхний, ведь Нижнего Чудакова и в помине не было. И вообще, почему Чудаков?

Мой дедушка — старый наездник, которого звали по имени-отчеству все завсегдатаи бегов, говорил:

«А что в том такого? В нашем переулке испокон веку одни чудаки проживают...»

Должно быть, он был прав. Потому что даже теперь, спустя годы, мне думается: нигде еще я не встречала таких удивительных, странных людей, волею судеб живших по соседству в одном переулке.

У нас жил Иван Петрович, буфетчик в чайной «Радость», старый, очень худой человек, писавший стихи и охотно читавший их всем и каждому. За одну ночь он мог исписать целую тетрадь, сочинив и поэму, и стансы, и просто, как он выражался, лирически бездумные вирши.

Жила у нас актриса, некогда гремевшая на всю провинцию, хрупкая, очень хорошенькая старушка с кукольным личиком, Мария Антоновна Заболотская.

Зимой она ходила в ветхой бархатной шубке, а летом — в сильно открытых платьях, расшитых стеклярусом, на плечах — пестрое боа из каких-то невиданных перьев.

По утрам она обтирала лицо кусочком льда. Летом лед доставлял мороженщик Матвей, огромный детина, обладавший необычайно зычным голосом.

Мария Антоновна уверяла, что в нем погиб бас первой величины.

Она была одинокой. В двух ее маленьких комнатках, где все стены были увешаны ее портретами в различных ролях, вместе с нею проживало что-то около дюжины кошек, которых она нежно любила.

Особенно умным считался старый кот, родоначальник всего ее кошачьего племени, по имени Лознгрин.

Тощий, с пролысынами на лбу и наполовину оторванным хвостом, Лознгрин ходил за ней по пятам, как собака. И когда она оборачивалась к нему и совершенно серьезно спрашивала: «Ты не устал, Лознгрин?» — он отвечал ей, то ли мурлыкнув, то ли всхлипывая.

Рядом с ней в доме проживал часовщик Кошиц, обрусевший чех, мастер на все руки — он умел чинить все: от водопроводного крана до велосипеда.

У него была привычка говорить с самим собой, причем, если его спрашивали, почему это он разговаривает сам с собой, он отвечал:

«Потому что я не нашел более интересного собеседника...»

Жил у нас в переулке старый моряк, которого мы все, ребята, звали просто «дядя Костя».

Это был невысокий моложавый человек, шумливый и словоохотливый, знавший множество занимательных историй.

Он объездил полмира, был в Америке, в Австралии, плавал вдоль берегов Африки. Его комната была заполнена всякими диковинками, привезенными из разных стран: на полках лежали окаменевшие морские звезды, причудливые сплетения кораллов, мох и странные, чудные растения, добытые с морского дна. Но самое интересное, по-моему, была рыба-меч, лежавшая в пузатой банке со спиртом. Как живые, глядели немигающие прозрачные глаза чудовища, и казалось, еще немного — и морская хищница бросится и вопьется в тебя своей длинной и в самом деле похожей на меч пастью.

Мы, ребята из Верхнего Чудакова, жили между собой дружно — учились в одной школе, ходили купаться на Москву-реку, вместе бегали на коньках.

Самым быстрым, ловким и самым красивым был Зденек Кошиц, сын часовщика Кошица, высокий, с дерзкими глазами и яркой, словно вспышка магния, улыбкой.

Мария Антоновна питала неискоренимую слабость к Зденеку. Она говорила, что он талантлив, необычайно фотогеничен и напоминает одного из первых русских киноартистов — Витольда Полонского. А Зденек подсмеивался над ней, но чувствовалось, что ему нравится, как она говорит.

Обычно Зденек приносил все новости. Он знал, на какой улице будет строиться самый высокий в Москве дом, и когда воздвигнут новый Каменный мост, и сколько точно артистов снималось в «Броненосце Потемкине»...

Как-то так получалось, что все мы, не сговариваясь, подчинялись Зденеку. Он был сильный, бегал быстрее всех, ко всем людям, маленьким и взрослым, относился снисходительно, а порой даже насмешливо.

Зденек первый принес нам новость — буфетчик Иван Петрович поменялся с кем-то квартирой и выезжает из нашего переулка.

Это была правда. Иван Петрович вместе со своим многочисленным семейством переехал неподалеку от Верхнего Чудакова — на Серпуховскую площадь.

По своему обыкновению, он откликнулся стихами на это примечательное для него событие:

Прощайте, родные соседи,  
Прощайте, добрые друзья!  
Сегодня ровно в полседьмого  
Вас покидаю с грустью я.

Но я запомню ваши лица  
И ваш душевный разговор.  
А если мы когда ругались,  
Забудьте этот скучный вздор!

Можно было подумать, что он уезжает куда-нибудь в Северную Гренландию или к тропику Козерога, а не перебирается всего лишь на несколько кварталов в сторону.

Вскоре мы познакомились с новым соседом, который поменялся квартирой с Иваном Петровичем.

Это было в Донском монастыре, расположенном недалеко от Калужской площади. Мы любили ходить туда. Там было тихо, на деревьях гнездились птицы, изредка перекликались колокола, и густой, медленный перезвон их постепенно угасал в воздухе. В траве были раскиданы полуразрушенные памятники, ангелы с обломанными крыльями, массивные надгробные плиты.

Все кругом было пронизано запустением и грустью, но нас это ни капельки не смущало. Мы бегали по траве, прятались за плитами, играли в салки, в казаки-разбойники, а устав, ложились где-нибудь в тени гранитного саркофага, помнившего, наверное, еще сподвижников Бориса Годунова.

И однажды, когда мы лежали друг возле друга под памятником, изображавшим мраморную девуцу в белом одеянии с мраморными жирными голубями на каждом плече, и говорили о всякой всячине, мы увидели мальчика, должно быть нашего ровесника. Он медленно подошел к нам и остановился. Он был худой, с длинными руками и ногами; у него было смуглое лицо, которое показалось мне добрым, и мягкие темно-карие глаза с золотистыми точечками внутри зрачка.

— Ты кто такой? — спросил его Зденек.

Мальчик немного смущенно улыбнулся. Потом спросил, заикаясь:

— А вы что, знали при жизни достославную жену купеческую Альбину Симеоновну Лобастову?

Валя Протасова фыркнула, но оглянулась на Зденека и прикрыла рот ладошкой.

Зденек молчал, наверное, думал, что сказать в ответ.

— Может быть, адресом ошибся? — спросил он.

— Нет, — ответил мальчик. — Ты сам погляди, что здесь написано.

Мы никогда раньше не читали надписей на мраморных

плитах и памятниках. А теперь обернулись, словно по команде, и прочитали:

— «Спи спокойно, достоправная жена купеческая Альбина Симеоновна Лобастова, коей жития была с одна тысяча семьсот осьмнадцатого года до одна тысяча семьсот пятьдесят...»

Дальше мрамор осыпался и ничего уже разобрать нельзя было.

Зденек усмехнулся.

— Нам-то что? Пусть спит спокойно.

— Конечно, — подхватила Валя, — если ей нравится, пусть спит.

Зденек подумал, поднял свои дерзкие глаза на мальчика.

— Хочешь — можешь сесть.

— Хочу, — сказал мальчик.

Его звали Роберт, а фамилия у него была самая простая, обыденная, совсем не выходящая с его красивым именем, — Курков.

Он сел и заговорил с нами просто, так, словно мы его давно знаем, и даже то, что он часто мигает глазами и слегка заикается, это тоже казалось с давних пор знакомо каждому из нас.

— Ты где живешь? — спросил его Лешка.

— В зеленом доме.

Мы переглянулись. Там жил Иван Петрович.

Роберт лег на землю, заложил руки за голову.

— Я здесь с одним дядькой познакомился. Такой дядька — на большой!

— Кто это? — спросил Лешка.

— Не знаю. Он нам помогал вещи перетаскивать, а потом позвал меня к себе. У него чего только в комнате нет — и ракушки всякие, и морские звезды.

— Это дядя Костя, — важно заметил Зденек. — Он, конечно, дядька непростой.

— Он мне дал ракушку, поднес к моему уху, говорит, послушай, как шумит море, — сказал Роберт.

— И ты услышал? — спросил Лешка.

Роберт улыбнулся.

— Захочешь — и не то услышишь!

— А еще у него есть бутылка, — сказала Валя. — В этой бутылке вода из Атлантического океана.

— Ну да! — не поверил Роберт. — Честное слово?

— Честное слово. Он ее из Мексики привез.

— И какая она?

— Никакая. Вода как вода.

Это сказал Зденек. Он смотрел на Роберта, слегка прищурясь, будто никак не мог понять, по душе ли ему Роберт или не очень.

— Вот здорово! — сказал Роберт. — Вода из Атлантического океана! Там плавали киты, акулы, дельфины...

— Русалки, водяные, — в тон ему продолжил Зденек. — А теперь эта водичка в Верхнем Чудаковом!

Роберт ничего не ответил ему. А потом сказал:

— У меня есть марки. Всякие, какие хотите.

Зденек повернулся к нему.

— У тебя есть марки Сингапура?

— Есть.

— А Гвинеи?

— Тоже. У меня есть очень редкие марки, вот придешь — увидишь.

Лешка быстро спросил:

— Можно, я тоже приду?

Роберт не успел ответить. Зденек перебил его:

— А ну, кто со мной в казаки-разбойники? — и мигом вскочил на ноги.

Валя бросилась бежать за ним, но он, ловко вывернувшись, вскочил на какой-то мраморный постамент и рассмеялся.

— Попробуй догони!

Роберт оглянулся на Лешку.

— А ты почему не бегаешь?

— Мне нельзя, — ответил Лешка. — У меня сердце такое, какое-то... — И он покрутил рукой возле своего сердца.

— Бывает, — согласился Роберт.

## 2

Мы все полюбили Роберта. А больше всех полюбила его я за то, что он был отзывчив. Отзывчив и душевен.

Я поняла это тогда, когда у меня случилось несчастье — умер дедушка. Почти полвека проработал он наездником на бегах, знал по именам многих известных москвичей. В былые времена к нему нередко приходил в гости сам дядя Гиляй — Владимир Гиляровский — и часами беседовал с ним о всякой всячине, а Федор Иванович Шаляпин, приезжая на бега, первым делом спрашивал:

«На какой нынче лошади Кириллыч?»

И ставил только на его лошадь.

Дедушка был высокий, очень сильный, с длинной, совершенно седой бородой, с ясными, детски простодушными глазами. И лишь немногие его друзья знали, что простодушие это обманчиво, что он по-настоящему мудрый, все понимающий человек, снисходительный к людским слабостям и, как все истинно умные люди, совершенно лишенный хитрости.

Он был веселый, мог подолгу рассказывать всякие удивительные истории, знал на память множество поговорок, пословиц, присказок и умел вовремя применить их.

О нем ходили легенды в Москве. Говорили, что как-то зимой, когда он ехал на лошади по деревне, на него напали волки и он руками задушил одного волка, а другие разбежались. Говорили, что однажды Распутин, приехав на бега, поставил на его лошадь и... проиграл. В тот день лошадь дедушки «понесла» почти у самого финиша и он пришел четвертым. Распутин велел позвать к себе проштрафившегося наездника. Хозяин бегов бросился за дедушкой, а тот только плечами пожал:

— Коли надо, пусть сам ко мне явится.

И хозяин, дрожа от страха, доложил всесильному «старцу», что, дескать, наездник от огорчения заболел и прийти по причине болезни никак не сумеет.

В годы советской власти он стал тренером молодых наездников, но порой, как говорится, любил тряхнуть стариной.

И, когда он появлялся на весенних дерби, в открытой пролетке, всегда одетый в голубой камзол с малиновым кепи на голове, держа в вытянутых руках цветные вожжи, а ветер развеивал его седую бороду, по рядам пробегал гул:

«Сам Кириллыч нынче в забеге!»

И вот он умер, умер так, как и положено умирать таким людям, прямо на ходу, неподалеку от своих любимых бегах, отправляясь на очередные занятия с наездниками.

Весь наш переулочек был забит народом. Какие-то неизвестные мне молодые рослые люди вынесли гроб с телом дедушки на улицу и бережно поставили его на колесницу, запряженную четверкой вороных лошадей, а за колесницей медленно двинулась толпа его друзей и знакомых.

Было тепло — середина июня, цвели тополя, в воздухе носился пух, пахло лошадиным потом и расцветающими листьями. Одна пушинка опустилась на дедушкину бороду и словно бы потерялась там, такая же белая и легкая.



Мы все — и Зденек, и Роберт, и Валя Протасова — шли за гробом.

Только Лешки не было — болел ангиной.

Мы шли по улицам через весь город и пришли к бегам. И тогда к нам подвели любимую лошадь дедушки — Вихря, изящного, словно выточенного орловца, золотистой масти, с тонкими, стройными ногами, туго забинтованными белыми обмотками.

Вихрь подошел к гробу, наклонил голову, как бы прощаясь, и вдруг — не только я, все увидели — из его больших, выпуклых, прекрасных глаз покатились слеза.

И тогда я заплакала, закричала в голос. В один миг я поняла, что это конец, что больше я не увижу дедушку, больше никогда не услышу его голос, его раскатистый, одному ему присущий смех.

Я еще не знала тогда, что в памяти моей с этого дня появится заминка и я всегда буду спотыкаться о нее, это — ссадина, которой не дано будет заживать, и она будет снова и снова ныть всякий раз, как пролетит над землей неотвязный тополинный пух, или донесется до меня крепкий запах лошадиного пота, или я услышу медленный цокот копыт по асфальту...

В ту пору я еще ничего этого не знала. Все это пришло позднее. А тогда я упала на землю и кричала:

— Дедушка, дорогой мой, скажи, ну скажи мне хоть слово!..

Кто-то поднял меня, прижал к себе.

— Идем со мной, — сказал Роберт, повел меня и насильно усадил на скамейку.

Он не говорил ничего, только сидел рядом, держал меня за руку, время от времени вынимая платок из кармана и вытирая им мои глаза и нос.

Он не отходил от меня и потом, когда все кончилось, сказал мне:

— Идем к нам...

Я согласилась. Мне не хотелось идти домой, где уже не было дедушки, и я пошла вместе с Робертом.

Роберт познакомил меня со своей теткой, с которой вместе жил.

У них была маленькая, впрочем, очень уютная комната, где было мало мебели, зато много цветов — в горшках, в ящиках, стоящих на подоконнике, на столе и просто на полу.

Тетка Роберта напоила нас чаем, угостила ватрушками. Ро-

берт показал мне альбом марок; там было много интересных марок, которых я никогда не видела, — сиреневых, розовых, ярковасильковых. Он называл их: Гватемала, Гавайские острова, Огненная Земля, Борнео, Суматра...

Необычные, таинственные слова казались мне особенно привлекательными, может быть, потому, что он произносил их свободно, видимо привыкнув к ним, но даже то, что он заикался, не снимало с этих слов налета загадки.

Был уже вечер, когда я собралась домой. Я снова вспомнила о дедушке, о том, что больше не увижу его.

— Не хочется идти? — спросил меня Роберт, словно угадав мои мысли.

— Нет, — ответила я.

Сейчас, наверное, полон дом людей — два дня у нас готовились к поминкам. Должно быть, едят, пьют и, может быть, даже веселятся, забыв о дедушке, о том, что его нет...

Роберт понял меня.

— А ты посиди, не торопись, — сказал он. И, нагнувшись ко мне, шепнул: — Я тебе что-то расскажу.

Мы вышли в палисадник. Там было тихо. Розовое вечернее небо стояло над землей, пахло табаком — цветами, которые распускаются только вечером. По дорожке, заросшей травой, беспечно прыгал одинокий воробей. Завидев нас, он улетел.

— Ну, слушай, — сказал Роберт. — Хочешь, я подарю тебе сон? Я знаю, что ты хочешь сегодня увидеть...

Я слушала его, раскрыв глаза. А по улице, совсем близко от нас, проходили люди.

Мы не видели их, до нас доносились только их голоса.

Чужая жизнь врывалась обрывками слов, всплесками смеха, затихающей мелодией песни...

Люди шли, и говорили, и пели, не думая о том, что кто-то может их слышать.

Вдали виднелась радиобашня на Шаболовке. Вечерами на ней загорался огромный негаснущий красный глаз. Должно быть, это было чудо: от башни на всю Москву плыли невидимые волны, благодаря волнам мы могли слушать радио, и полярники по радио говорили со своими родными, которые находились от них за тысячи километров.

А вот то, что Роберт умел дарить сны, было так удивительно, что просто даже не верилось.

— Подари, — сказала я. — Если можно...

— Постараюсь, — пообещал он.

Хотите — верьте, хотите — нет, но тогда, ночью, я увидела то, что хотела.

Я снова увидела дедушку живым, веселым, он смеялся, закинув голову, и серебряная борода его блестела на солнце.

И он говорил мне во сне что-то, я теперь уже не помню, что именно. Но тогда, когда я проснулась, я ощутила почти наяву прикосновение его руки, и весь день мне слышался его смех и голос, который говорил во сне какие-то добрые слова...

Секрет Роберта вскоре перестал быть секретом. Должно быть, я была виновата в этом. Я рассказала Вале Протасовой и взяла с нее самое честное-пречестное слово, что она никому не скажет.

И она поклялась и даже в знак полного молчания поцеловала свой пионерский галстук. Это считалось у нас самым священным, и нарушать такую клятву было уже попросту невозможно.

Но, несмотря ни на что, она тут же рассказала обо всем Зденеку.

Когда мы собрались все вместе на нашем обычном месте в Донском монастыре, Зденек недолго думая спросил Роберта:

— Ну, какой сон ты мне подаришь?

Я быстро взглянула на Роберта. Он улыбнулся мне.

— Не сердись, Роберт, это я виновата! — крикнула я. — Рассказала Вальке, а она дала честное слово и галстук поцеловала...

Валя вскочила и затараторила:

— Ну и что такого, что рассказала? Я сказала: нечестное слово. Честное слово, что я сказала нечестное слово, а ты не слышала. Я не виновата, вот нисколько не виновата!

— Никто не виноват, — сказал Роберт и посмотрел на меня. — Я же не брал с тебя слова, что ты никому не скажешь.

У меня сразу стало легко на сердце. Ведь правда, я вспомнила, он не брал с меня слова и не просил, чтобы я никому ничего не говорила.

Зденек пренебрежительно махнул рукой.

— О чем спор? Поговорим лучше о деле.

Серые глаза его казались зелеными от травы. На щеке играла ямочка — то пропадала, то вновь появлялась.

— Какой же сон ты мне подаришь? — снова спросил он.

— А какой бы ты хотел увидеть? — спросил Роберт.

Зденек усмехнулся.

— О, я многого хочу. Очень даже многого. — Он замолчал, подумал. — Вот, например, я хочу увидеть во сне то, что будет со мной через десять лет. Идет?

И рассмеялся. Блеснули его зубы подковкой, глаза стали совершенно прозрачными.

— Вот такой сон подари мне!

Маленький Лешка поднял руку. Он всегда поднимал руку, если хотел что-нибудь сказать. Так он привык еще с первого класса.

— Что такое? — спросил Зденек.

— Я хочу, чтобы мне приснился шоколад, — сказал Лешка, глядя на Роберта большими преданными глазами. — Вот такая плитка, с это дерево!

— Да ну тебя! — с досадой прикрикнул Зденек и вновь обернулся к Роберту. — Так что же, увижу ли я то, что будет через десять лет?

— А ты сам знаешь, что будет через десять лет? — спросил Роберт.

Зденек пожал плечами.

— Нет, конечно. Вот увижу твой сон, — он подчеркнул слово «твой», — тогда и узнаю все, как есть.

Роберт задумчиво посмотрел на него, потом перевел взгляд на Лешку. Он присел на корточки, охватив руками колени.

— Я вам сейчас все объясню, и вы сами поймете.

— А, — сказал язвительно Зденек, — назад пятишься!

— Слушай, — терпеливо продолжал Роберт. — Вы все меня не так поняли. И ты тоже. — Он бегло взглянул на меня. — Это все совсем не так, как вы думаете.

— А как же? — спросил Зденек, подмигнув Вале.

— Да, как же, расскажи, — послушно отозвалась Валя.

— Это меня еще отец научил, когда я был маленький, — начал Роберт. — Мы с ним иногда оставались одни... Мать часто уезжала, уходила куда-нибудь, а мы оставались одни, и отец меня учил, чтобы я заснул, — думай о том, о чем тебе хочется, и ты увидишь это самое во сне. Я тоже не верил ему сперва, а потом стал думать, только так, не отвлекаясь, ни о чем больше не думая, только об одном, и вот я часто видел во сне именно то, что хотел.

— Что же ты видел? — спросила Валя.

— Разное. То, что хотел.

— А все-таки?

Он ответил не сразу:

— Я маму часто видел. Во сне она не кричала на меня и отца, и она всегда была с нами, не уходила никуда...

Он оборвал себя.

— Сперва это тяжело, — продолжал Роберт, — а потом привыкаешь и вдруг раз за разом видишь во сне именно то, что хочешь.

— Здорово! — восхищенно произнес Лешка.

— Здорово! — согласился Роберт. — Просто, как в сказке, даже сам не веришь.

— Еще бы, — усмехнулся Зденек.

Но Роберт не обратил внимания на его слова.

Он продолжал рассказывать по-прежнему спокойно:

— Надо перед сном стараться думать о чем-нибудь, ну вот хотя бы ты, Леша, думай о том, что ты хотел бы увидеть, а я у себя дома перед сном тоже буду думать вместе с тобой о том же самом. И мы оба будем думать, и тогда ты увидишь то, что хочешь.

На лице Зденека появилось растерянное выражение. Он пожал плечами.

— Черт те что...

— И что же, сразу все выйдет? — спросила Валя Протасова.

— Нет, не сразу, конечно, но потом иногда может получиться.

Валя подняла глаза вверх, пухлые губы ее озабоченно шевелились.

— Ты что? — спросил Зденек.

— Что бы я хотела увидеть? — задумчиво спросила Валя. — Так всего хочется!

— Может, что-нибудь вкусное, — несмело сказал Лешка.

— Нашла! — сказала Валя и захлопала в ладоши. — Когда я была маленькой, я очень любила сказку о Белоснежке и семи гномах. Хорошо бы, если бы я вдруг увидела себя Белоснежкой, такой маленькой, белой и... — она запнулась, — очень красивой.

Зденек откровенно рассмеялся. Валя оборвала себя, замолчала. Все еще смеясь, Зденек повернулся ко мне.

— Ну, а что бы ты хотела увидеть во сне? Тоже какую-нибудь сказку или что-нибудь в этом роде?

Я ответила сразу. Я давно уже обдумала свой сон, который мне хотелось бы увидеть.

— Вот если бы задачи по алгебре, которые нам дадут на контрольной...

Не только Зденек, но и Валя и Лешка расхохотались. Один Роберт оставался невозмутимым, чутьчку грустным.

— Вы все-таки не понимаете меня, — сказал он. — Наверное, я сам виноват. Не все сны можно увидеть, только те, которые очень хочешь увидеть.

— Так я же очень хочу увидеть эти задачи!

— Но ты их не знаешь. А надо думать только о том, что знаешь. О том, что могло с тобой случиться в жизни. Понятно?

Казалось, Зденек только и ждал этих слов.

— Так бы и говорил сразу. Значит, не все сны можешь дарить?

В голосе Зденека звучало откровенное злорадство.

— Да, не все, — сказал Роберт. — Я же уже говорил, надо думать, все время думать о том, что ты хочешь увидеть, и представить себе все совершенно ясно, а я тоже буду думать с тобой вместе, ну, в общем, помогать тебе, и тогда ты увидишь сон, только, конечно, это и не всегда может выйти. . .

— Конечно, — подхватил маленький Лешка, с обожанием глядя на Роберта. — Ты же не волшебник, а такой, конечно, как мы все. Правда?

— Правда, — улыбаясь, ответил Роберт.

Зденек бросил на него долгий взгляд из-под ресниц.

— А ты, видать, соврешь — не дорого возьмешь!

— Неправда!

Это закричал Лешка. Он подбежал к Зденеку и закричал, не помня себя, заикаясь от волнения:

— Замолчи! Это неправда! Я не хочу так! . .

Зденек удивленно воззрился на него и сказал примирительно, почти ласково:

— Ну, ну, Леша, не будем ссориться, есть из-за чего. . .

— Нет, будем, — непримиримо сказал Лешка. — Роб никогда не врет, никогда в жизни!

— И очень хорошо, врать не надо, это вредно, — все так же ласково согласился с ним Зденек.

Лешка растерялся на миг.

— Почему вредно?

Но Зденек уже не слушал его. Он быстро, рывком скинул с себя куртку, в одно мгновение согнулся, словно сломался пополам, и прошелся колесом перед нами.

Потом сделал мостик и, глядя на Лешку снизу вверх, спросил:

— Умеешь так?

— Нет, — чистосердечно признался Лешка, — не умею.

А Зденек, как бы щеголяя своей силой и ловкостью, волчком вертелся перед нами, кувыркался, то сгибаясь в три погибели, то разгибаясь. Его быстрые ноги и руки так и мелькали в воздухе.

Мы все невольно загляделись на него. А он внезапно вскочил на ноги, легонько хлопнул Лешку по плечу:

— Догоняй!

И бросился бежать от него. Лешка рванулся было за ним, но быстро отстал, сказал с сожалением:

— Я не могу так.

— Ничего, — сказал Роберт, — когда-нибудь сможешь.

Лешка вздохнул, ничего не ответил.

А Зденек все бегал, как бы спасаясь от погони, быстрый, стремительный, веселый. И мы смотрели на него, не могли отвести глаз.

### 3

Пятого сентября у нас была контрольная по математике. На перемене после контрольной, когда мы все стояли во дворе и обсуждали задачи, Зденек сказал Роберту:

— По-моему, все будет в порядке.

Роберт кивнул.

Домой мы шли все вместе, и Зденек сказал:

— Слушай, Роб, покажи нам свои марки, те, что показывал Кате.

— Хорошо, — ответил Роберт. — Только не сегодня, лучше завтра.

— Почему не сегодня? — спросил Зденек.

Он был все-таки удивительно дотошный, до всего ему было дело.

— Сегодня ко мне мама приедет, — ответил Роберт.

Вечером мы с Валею отправились в писчебумажный магазин покупать перья — самые наши любимые, 86-й номер.

Дорогой Валя сказала мне:

— Дай честное пионерское, что никому не скажешь!

— Я не ты, — ответила я, — уж если я дам, то это не будет нечестное слово.

Розовые щеки Вали стали малиновыми.

— Будет тебе, в самом деле...

- Хорошо, пусть будет «будет».
- Так как, даешь честное пионерское?
- Даю.

Она приблизила губы к моему уху:

— Зденек попросил Роберта дать ему списать задачи по математике.

— Врешь! — не поверила я.

— Честное пионерское! — Валя с жаром поцеловала свой галстук. — Сама слышала, как он перед письменной подошел к нему и сказал: «Слабó дать мне списать задачи», а Роберт сказал: «Нисколько не слабó».

— И дал?

— Дал. Он ему шпаргалку написал и сунул, и никто не видел. Одна я.

— Так Зденек вроде раньше всегда сам решал все письменные, — сказала я.

Валя оглянулась, нет ли кого позади.

— Это я решала. Он у меня раньше просил, а теперь у Роберта.

— Почему?

Она с сокрушенным видом пожала плечами.

— Не знаю. Может, стесняется.

Нет, Зденек был далеко не из стеснительных. Скорее всего, он хотел проверить Роберта, даст ли ему Роберт списать или нет.

Конечно, он был уверен — Роберт не откажет. Он не умел отказывать.

Но я ничего не сказала Вале. Все равно, что бы я ни сказала о Зденеке плохого, она бы ничему не поверила.

В магазине мы долго перебирали различные перья, хотя с самого начала решили взять 86-й номер. Потом разглядывали записные книжки. Одна мне понравилась особенно — в голубой клеенчатой обложке с золотой свинкой в уголке.

— Такая же книжка есть у Зденека! — радостно сказала Валя.

Мы шли с Валею домой, и она то и дело говорила о Зденеке, о том, что он сказал, что сделал. И, когда я начинала говорить о чем-либо, не имеющем отношения к Зденеку, лицо ее скучнело и сразу же становилось безразличным.

Мы простились с Валею на Калужской площади, и я пошла домой. Возле трамвайной остановки мне встретился Роберт. Он шел рядом с невысокой, довольно полной женщиной, одетой



в светлое пальто, с газовым шарфом, накинутым на голову. У женщины было красивое лицо, белокурые волосы, темные густые брови. Она была немного схожа с Робертом, и я сразу догадалась, что это, должно быть, и есть его мать.

Я подходила к дому, когда Роберт догнал меня.

— Пойдём к нам, — предложил он.

— Пойдем, — согласилась я.

В палисаднике у них, как всегда, было тихо. Пряно пахли цветы табака, и возле самого забора зеленели широкие шершавые лопухи.

— Хорошо у вас, — сказала я.

Мы сели на скамейку возле акации.

— Это моя мама сейчас приезжала. Видела?

— Видела. Ты на нее похож.

Он решительно затряс головой.

— Нет. Я на отца похож.

— Она красивая.

— Правда? — Он задумался немного. — Все говорят — красивая.

— А ты что, сам не видишь?

— Не знаю.

По дорожке от дома к нам торопливо шла, почти бежала какая-то женщина. Она подошла ближе, и я узнала тетку Роберта. Не глядя на меня, она бросилась к нему:

— Ушла?

— Только что проводил, — ответил Роберт.

— Когда опять придет?

— Не знаю. — Роберт пожал плечами. — Об этом мы не говорили.

— Ты не поедешь! — сказала тетка, голос ее сорвался, и она заговорила шепотом: — Ты не поедешь, я тебя никуда не пущу.

— Я никуда не поеду, — сказал Роберт.

Она кивнула. Потом быстро, не оборачиваясь, пошла к дому. Роберт сел рядом со мной на скамейку.

— Вот ведь какое дело, — сказал он.

Мне подумалось, что он стыдится меня, стыдится того, что передо мной внезапно приоткрылась завеса, скрывавшая его жизнь.

— Мне пора, — сказала я.

— Подожди.

— Ты не бойся, — сказала я. — Даю тебе честное пионерское, самое честное, я ничего никому не скажу!

— Я у тети Ани уже семь лет живу.  
— Она хорошая?  
— Очень. У нее жизнь знаешь какая? Если про нее написать, никто не поверит, подумают, что это все кто-то придумал... Подожди, — сказал он. — Я тебе сейчас что-то покажу.

И стремглав бросился к дому.

Он быстро вернулся, держа в руках небольшой альбом.

— Смотри, это тетя Аня, когда была молодая.

Я увидела тонкое, с круглым подбородком и слегка вздернутым носом молодое лицо. Большие глаза, нежные, чуть улыбающиеся губы. Тугие косы венцом уложены на голове.

Никогда не могла бы я подумать, что худенькая, невзрачная женщина, которую я только что видела, была такой красивой.

— А вот мой отец. — Роберт показал мне другой портрет.

Портрет был, видимо, старый, стертый на сгибах. Отец его стоял в группе мужчин. Он был высокий, пожалуй, выше всех; черты лица было трудно разглядеть, хорошо были видны только глаза, узкие, слегка приподнятые к вискам.

— Он тогда учился на рабфаке, — сказал Роберт. — Вместе с тетей Аней.

— Она что, его сестра? — спросила я.

— Нет, — ответил Роберт, — она сестра мамы. Мама старше тети Ани на два года. Ведь мой отец сперва на ней жениться хотел, а когда познакомился с ее сестрой, с моей мамой, тогда все не так стало...

Роберт помолчал. Лицо его было задумчивым.

— Я у тети Ани живу, — снова начал Роберт. — Я у нее всегда жить буду.

— А мама одна живет? — спросила я.

— С отчимом, — сказал он. — Отчим у меня неплохой, но только я все равно останусь у тети Ани. Они хотят, чтобы я к ним переехал, а я не хочу...

Он приподнял голову, повторил с каким-то непонятным мне упрямством и силой:

— А я не хочу и никуда не поеду!

#### 4

Самым строгим учителем в школе по праву считался наш классный, математик Георгий Ефимович Мерзоев.

Должно быть, все поколения школьников, которых он учил, называли его за глаза одинаково — «ГЕМ».

Сухощавый, сутулый, с пронзительными, водянисто-голубого цвета глазами и рыжеватой щеточкой усов, он был беспощаден. Получить у него «хорошо» было невероятно трудно, а «отлично» — просто невозможно.

Он был придирчив, суров и, как мне казалось, считал всех нас несправимыми лентяями.

Он не любил нас. Мы платили ему тем же, и боялись его, и перед каждой контрольной мечтали о том, чтобы он заболел, уехал куда-нибудь и вообще навсегда скрылся от нас. Но он был на диво здоров и за все тридцать пять лет работы не пропустил ни одного часа.

Прошло три дня после той контрольной, когда Зденек сплел у Роберта.

Пунктуальный ГЕМ, как и всегда после контрольной, принес в класс наши работы.

Он сел на свое место, обвел нас пронизывающим взглядом острых, словно буравчики, глаз.

Мы замерли. У него на уроках всегда царила тишина, а тут еще контрольная. Что-то она покажет?

— Протасова — хорошо, — сказал он, отдавая тетрадь Вале.

Пунцовые щеки Вали, казалось, побагровели еще больше.

— Ширяева — удовлетворительно. — Не глядя на меня, он отдал мне тетрадь.

«Спасибо и за это», — мысленно ответила я.

Он назвал еще несколько работ — удовлетворительных, неудовлетворительных, больше всего было, разумеется, неудовлетворительных.

Потом в упор посмотрел на Роберта.

— Курков, подойди сюда.

Роберт встал со своего места и подошел к нему.

— У тебя одна ошибка, — сказал ГЕМ. — Одна-единственная!

Он поднял кверху сухой и тонкий, словно перочинный нож, палец.

— Одна-единственная. Но я ставлю тебе неуд.

— Почему? — спросил Роберт.

Не отвечая ему, ГЕМ повернул голову и посмотрел на Зденка. И вдруг все мы увидели, как неяркий румянец залил щеки Зденка.

— Кошиц, — сказал ГЕМ, — у тебя ошибка в письменной. . . — Он помолчал, словно подбирая слова. — У тебя ошибка совершенно та же, что у Куркова.

— Правда? — удивился Зденек.

Водянисто-голубые глаза ГЕМа, казалось, хотели пронзить Зденека насквозь.

— Эта ошибка неслучайна. Кто-то из вас списал у другого. — Он пожевал сухими губами. — Я не знаю кто. Вы сами скажете, кто списал: ты у Куркова или он у тебя.

Роберт молчал. Я знала: лгать для него великое и тяжкое испытание, но он предпочитал молчать, чтобы не выдать товарища.

Зденек, очевидно, уже оправился от смущения.

— Странное дело. — Он оглянулся на нас, как бы призывая в свидетели. — Один написал с ошибкой, другой с ошибкой, и выходит, мы списали друг у друга.

ГЕМ кивнул.

— Выходит! — строго сказал он.

Зденек вскинул на него свои красивые глаза.

— А разве не может быть, Георгий Ефремович, что каждый писал так, как он хочет, и ошибка, что у одного, то и у другого, случайная?

— Это не случайная ошибка, — сказал ГЕМ. — Я знаю, кто-то из вас списал. Или ты у Куркова, или он у тебя.

Валя бросила на меня быстрый взгляд. Мы-то знали, кто у кого списал.

Роберт стоял молча, глядя прямо перед собой. И Зденек тоже молчал.

— Если вы сознаетесь, — снова начал ГЕМ, — я поставлю одному из вас хорошо, а тому, кто списал, — неуд. А если не сознаетесь, оба получите неуд. Понятно?

Роберт не ответил ему. Зденек пожал плечами.

— Я жду, — сказал ГЕМ.

Он обмакнул перо в чернильницу.

Глаза его чуть дольше обычного задержались на невозмутимом лице Роберта.

Мне подумалось — ГЕМ знает, что списал Зденек, но хочет, чтобы Зденек сам сказал об этом.

Зденек не сказал ничего. И Роберт промолчал. И мы все увидели в журнале против фамилии Куркова и Кошица аккуратно выведенные четыре буквы.

— Имейте в виду, — сказал ГЕМ, положив ручку, — эта отметка будет иметь решающее значение, когда будут выводиться отметки за четверть.

Зденек и Роберт молча направились на свои места.

— Я не выдержу, — шепнула мне Валя. — Еще немного, и я не выдержу!

— Скажи, — ответила я. — Слабо́ сказать!

Она покорно кивнула. Она понимала, что и в самом деле слабо. Но во время большой перемены, когда мы все бегали по двору, она подошла к Зденеку.

— Почему ты не сказал? — спросила она его.

Он окинул ее удивленным взглядом.

— О чем не сказал?

— Ведь ты же списал, я знаю, — сказала Валя.

— Много ты знаешь... — пренебрежительно протянул Зденек.

Она стояла перед ним, красная, взволнованная, словно чувствовала себя в чем-то виноватой. Он снисходительно улыбнулся ей.

— Чудачка ты, Валя...

А потом все снова стало на свое место, и Валя по-прежнему восхищалась Зденеком, старалась отыскать в нем одно только хорошее и привычно стремилась угодить ему. Казалось, все было забыто: и то, что он списал у Роберта, и то, что промолчал на вопрос ГЕМа.

Правда, мы еще долго не могли позабыть об этом случае. Ведь мы-то знали, как все это было, но Зденек молчал, и Роберт словно воды в рот набрал. И в конце концов эта история позабылась, как забывались многие другие истории.

Но вот однажды мы решили пойти в кино.

— На большее нас не хватит, — сказал Зденек. — Поэтому давайте хоть в кино ходим.

Кино находилось в одном из переулков Шаболовки. Это была маленькая киношка, в которой демонстрировались старые немые картины, преимущественно заграничные.

Нас надоумила пойти туда бывшая актриса Мария Антоновна: она устроилась играть там тапером.

Как-то зимой она взяла меня с собой в кино. До сих пор помнится мне неуютный, тесный зал. Дверь из зала выходит прямо на улицу. Когда открывается дверь, то вместе с публикой в зал врываются седые снежные клубы.

Мария Антоновна сидела внизу, под экраном, в углублении, которое называли оркестром, хотя, кроме старенького, изрядно разбитого пианино, там не было никаких признаков оркестра.

На экране плакала неподдельными, крупными, как фасоль, слезами Доротти Вернон — пленительная Мэри Пикфорд, от-

крывая и закрывая кукольный ротик; вдоль прерий мчались мустанги, и гибкое лассо с налета обвивало их шеи; с крыши на крышу беспечно прыгал доблестный Дуг Фербенкс, блистая улыбкой и постоянно хорошим настроением. А в зале непрерывно звучали грустные аккорды, то гремящие басовыми раскатами, то рассыпавшиеся колокольчиком.

Мария Антоновна играла все сеансы подряд. Она здорово уставала; холеные руки ее краснели от холода, но она была счастлива, вновь приобщившись к любимому искусству.

«Словно снова вернулись прошлые годы и я опять актриса», — говорила она мне.

И я верила ей, глядя на ее маленькое личико с большими, когда-то красивыми глазами.

Шла картина «Знак Зерро» с Дугом Фербенксом в главной роли. Это была старая картина, но Зденек, любивший Фербенкса и втайне даже подражавший ему, уговорил нас, и мы пошли смотреть «Знак Зерро».

Билетов в кассе было сколько угодно, времени перед сеансом было еще предостаточно. Мы успели прогуляться от Калужской до Нескучного сада и вернулись к самому началу.

Билетерша, толстая, рыжеволосая, с тупым и недобрым лицом, так придирчиво оглядывала наши билеты, словно не верила, что мы их купили в кассе.

Она пропустила нас: Зденека, Роберта, Валу, меня, но, когда дошел черед до Лешки, непримиримо сказала:

— А тебе нельзя.

Лешка изумленно уставился на нее. Он подумал было, что она шутит. Но она не шутила. Она повторила непреклонно:

— Тебе нельзя. Детям эту картину смотреть запрещается.

— Я не дети! — сказал Лешка, побелев от обиды. — Я просто такого роста.

— Нельзя! — отрубил билетерша.

— Послушайте, — сказал Зденек и улыбнулся: он знал силу своей улыбки. — Послушайте, он же наш ровесник, честное слово!

Но билетерша не поддавалась его чарам.

— Ты проходи, — сказала она Зденеку, — а его не пущу. И не проси, ничего не выйдет! — Она посмотрела на Лешку так, словно он был личным ее врагом. — Ни за что не пущу!

Лешка посмотрел на меня, на Роберта. Губы его дрожали.

— Ничего не поделаешь, — сочувственно произнес Зденек. — Как-нибудь тогда в другой раз...

Лешка молчал. Должно быть, он и думать не хотел о каком-то следующем разе. Он хотел пойти сегодня, сейчас, вместе с нами, увидеть этот прекрасный «Знак Зерро», который казался ему еще обольстительнее, потому что его не пускали.

Прозвенел первый звонок.

— Пошли, — сказал Зденек и взял Валю за руку.

Я оглянулась. Роберт стоял, прислонясь к стене, под плакатом, изображавшим непобедимого Дугласа в полумаске, с темным плащом через плечо.

— Ладно, — сказал Роберт. — Идите, а мы с Лешкой в следующий раз.

— Не дури! — сказала Валя Роберту. — Это еще почему?

— Мне не хочется, — равнодушно сказал Роберт.

— Я тоже не пойду, — сказала я. — Подумаешь, Фербенкс, а может, это буза какая-нибудь?

Я старалась уговорить себя. Во-первых, на Лешку просто жалко было смотреть. И потом, в самом деле, что случится, если не пойдешь в кино? Ведь все равно через два часа картина кончится, как и не глядел вовсе.

Валя растерянно уставилась на меня.

— И я не пойду.

Зденек схватил ее за руку, почти потащил за собой.

— Чего ты дуришь? Раз договорились — идем!

Она перевела глаза на Роберта.

— Иди, — сказал Роберт. — И ты, Катя, тоже иди, а мы с Лешкой пойдем в следующий раз. На другую картину. Скоро «Леди Гамильтон» пойдет. Хочешь «Леди Гамильтон», Лешка?

— Хочу, — пролепетал Лешка.

— Тогда пойдем продадим билеты, — сказал Роберт. — А то сейчас уже начало...

Раздался последний звонок, и мы вошли в зал.

— Все-таки Роб у нас чокнутый, — сказал Зденек, усаживаясь между мной и Валей. — Взял и не пошел ни с того ни с сего. Когда-то еще он увидит «Знак Зерро»?

Он, видимо, ожидал, что Валя, как и всегда, поддержит его, но Валя промолчала, словно не слышала его слов.

Когда пишешь о днях, давно минувших, многое, само собой, выпадает из поля зрения и память не всегда в состоянии удерживать и сохранить иной раз даже значительные события.

Но вдруг старая песня, или голос, похожий на чей-то давно умолкший, или запах клеевой, еще не просохшей краски напоминают о том, что, казалось, надолго и прочно погребено в тайниках памяти. И тогда все, что было, вновь возникает в сознании. Звучат голоса друзей, слышится любимая в те годы музыка, вновь видятся только что окрашенные золотистые стены физкультурного зала школы.

Здесь, в этом зале, происходили наши пионерские сборы. Сюда к нам приезжали многие знатные люди — стахановцы, летчики, писатели, артисты.

Душой всех наших сборов был старший пионервожатый Гриша Четверг.

Эта необычная фамилия, пока мы не привыкли к ней, постоянно вызывала смех.

Много позднее мне довелось прочитать повесть английского писателя Честертона «Человек, который был Четвергом», и сразу вспомнился Гриша.

Как живой, встал он передо мной — невысокий, очень ловкий, быстрый в движениях, с яблочным румянцем на щеках, с серыми, широко расставленными глазами.

Зиму и лето Гриша ходил в стеганке, по слухам принадлежавшей еще его отцу, бывшему красногвардейцу.

Он никогда не носил шапки; черные тугие, как проволока, волосы его торчком стояли на голове.

Мы, ребята, подтрунивали над Гришей, но в то же время любили его. Мы любили его за незлобивость, за открытость души, за то, что над ним было легко и безопасно смеяться: он никогда не обижался и первый смеялся над своими курчавыми жесткими волосами, над бессменной стеганкой, над неправильным произношением некоторых слов.

У него было любимое словцо, которое он применял кстати и некстати: и когда он радовался, и тогда, когда бывал чем-то озабочен: «филармония»...

«Сегодня погода что надо, — говаривал он. — Филармония...»

Еще мы любили Гришу за то, что с ним не было скучно: он был выдумщик, и наши сборы поэтому проходили так интересно, что иногда к нам являлись даже ребята из соседней школы.

Когда построили первую линию метро, он сочинил целую феерию-буфф, по выражению Зденека.

Каждый из нас должен был представлять собой какую-нибудь станцию: «Кировскую», «Красные ворота», «Парк культуры», «Охотный ряд»...



Мы спускались в метро, беседовали со строителями, с машинистами и дежурными; каждый наметил себе героя, о котором будет рассказывать. Между прочим, мы с удовольствием по несколько раз прокатились по всем станциям.

К слову, не могу не упомянуть о том, что приключилось с нашим Лешкой.

Он должен был побывать на станции «Сокольники», вернее, как говорил Гриша, собрать необходимый материал.

Вечером ко мне прибежала мать Лешки. Это была пухлая, очень добродушная женщина, до смешного схожая с Лешкой: у них были одинаковые круглые голубые глаза, мягкие, ковыльные легкие волосы, всегда полукруглый рот.

Обычно спокойная, невозмутимая, как большинство добродушных толстух, она была неузнаваема: щеки ее пылали, волосы в беспорядке падали на светлые брови.

— Пропал Лешка! — сказала она. — Ты не видела его?

— Нет, — ответила я.

Она всплеснула руками.

— Мы с отцом просто обыскались его. Нет нигде!

Вместе с ней я побежала к Вале, к Роберту. Лешки никто не видел.

Стали искать его по всей Москве: заходили в кинотеатр, в школу, даже в баню. Нигде его не было. На его мать страшно было глядеть.

Мы изо всех сил старались успокоить ее. Уверяли, что с Лешкой ничего, ровным счетом ничего не случилось, что он безусловно жив и здоров и вот-вот явится домой.

Но время шло, а Лешки все не было.

— Может, правда, — тихо шепнул мне Зденек. — Может, и в самом деле...

Мы бросились в школу. Там был единственный во всем нашем переулке телефон.

— Куда будем звонить? — спросила Валя. — Ну, куда?

— Не знаю, — сказал Роберт.

— Не знаю, — отозвалась я. — Ничего не знаю.

— Вот что, — сказал Зденек. Он оказался самым разумным и сохранил присутствие духа. — Надо прежде всего позвонить дежурному по Москве.

Он снял трубку и четко, словно команду, произнес в телефон:

— Дежурного по городу!

Можно себе представить, как мы все затаив дыхание стоя-

ли возле телефона, ожидая ответа дежурного. И как же легко нам стало, когда мы узнали о том, что Алексей Елистратов не попадал ни под трамвай, ни под автобус и вообще в течение всего дня никакого несчастного случая с мальчиком маленького роста, одетым в синюю куртку и лыжные серые штаны, не произошло!

Лешка явился домой в двенадцатом часу. Пришел как ни в чем не бывало оживленный и веселый. Остановился в дверях, удивленно оглядывая всех нас, сидевших за столом. Мать вскрикнула, бросилась к нему, сперва засмеялась, потом заплакала, потом обняла его, прижала к себе, а вдоволь ощупав и намяв, стала осыпать Лешку подзатыльниками, приговаривая:

— Где ж ты был? Надо же так, мы просто голову потеряли!..

Лешка тщетно старался увернуться от ее объятий и оплеух.

— А что? — спросил он наконец, невинно глядя то на мать, то на угрюмо молчавшего отца. — А что я сделал?

Тут уж и мы не выдержали, дружно накинулись на него.

Но с Лешки как с гуся вода — и глазом не моргнул.

— Я катался, — сказал он. — Я целый день катался в метро: от «Сокольников» до «Парка» и обратно...

— Интересно? — зловеще спокойным тоном спросил Зденек.

— Очень! — Лешка даже захлебнулся. — Я столько всего теперь знаю! Вот знаете, какая длина всех туннелей или за сколько минут доедешь от «Сокольников» до «Дворца Советов»?

— Завтра прочитаешь лекцию, — мрачно сказал Зденек. — Ты нам всем немало седых волос прибавил...

— Ну да? — усомнился Лешка и даже привстал на цыпочки, словно хотел разглядеть в волосах Зденека седые нити.

— Ты понимаешь, что ты наделал? — непривычно строго спросил Роберт.

Лешка широко раскрыл глаза.

— А что особенного?

— Ты бы о матери подумал, — все так же строго продолжал Роберт. — Знаешь, что с ней было?

Лешка пожал плечами.

— Вот всегда так: на копейку прибыли, на рубль отдачи! Должно быть, не он сам придумал эту поговорку, скорей всего услышал ее где-то.

Первой не сдержалась, прыснула Валя, за ней рассмеялись все мы.

Валя хохотала до слез. Она раскраснелась, светлые волосы

упали ей на лоб, она махала руками и сквозь смех кидала отрывисто:

— Ой, Лешка!.. Ну и чудик же ты! Рехнуться от тебя можно...

Лешка вроде даже обиделся.

— Почему — рехнуться? — сурово переспросил он. — А ты знаешь, какая протяженность метро, например, в Нью-Йорке?

— И знать не хочу, — ответила Валя, вдоволь насмеявшись.

— Не знаешь? Да, не знаешь? — Голос Лешки звучал торжествующе. — А я знаю. Пятьсот километров! А в Лондоне сколько? Четыреста!

Он заикался, стремясь поскорее выложить все свои познания.

— А у нас, в нашем метро, имеется два рода вентиляции: естественная и искусственная, или эта, как ее, приточно-вытяжная...

— Интересно, — сказал Роберт. — Я ничего этого не знал.

— А я знаю! — почти закричал Лешка. — Думаешь, я только катался, да? Только и делал, что в окошко глядел?

Роберт улыбнулся.

— Ничего я не думал. А в метро, сам знаешь, много чего в окошко не углядишь.

— А знаешь, какое у нас отопление в подземных вестибюлях? — продолжал забрасывать вопросами Лешка.

— Поди ты со своим отоплением! — досадливо ответил Зденек. — Что мне за дело? Если тепло, значит, хорошее отопление.

Лешка с видимым сожалением посмотрел на него.

— Эх, ты, ничего тебе не интересно.

— Говори, да не заговаривайся! — сказал Зденек.

Лешка вызывающе вскинул голову.

— Сам не заговаривайся!

Роберт поднял обе руки кверху, словно судья на боксерском ринге.

— Хватит! Поговорили, и довольно.

Но Лешка не послушался его, как обычно.

— Почему — довольно? — петушился он. — Что он мне рот затыкает? Вот мы все ездим в метро, говорим в один голос: ах, метро, ах, вестибюли, а ничего не знаем, что это такое, с чем его едят.

Зденек невозмутимо повел плечами.

— А мне все равно, что это такое, с чем его едят, — веско сказал он. — Мне удобно ездить, поезда ходят точно, в метро тепло, ну и прекрасно, а как там что устроено, мне все равно!

— А мне не все равно, — вдруг сказала Валя. — Я не знала, что в метро два рода вентиляции.

Зденек обернулся к ней.

— А теперь, скажем, знаешь. Ну и что? Что ты от этого стала счастливее, умнее?

Валя не могла противоречить Зденеку. Обычно находчивая и смелая, она мгновенно терялась, стоило Зденеку сказать ей хотя бы одно слово, просто насмешливо взглянуть на нее.

— Ладно, — сказала она, избегая смотреть на Зденека. — Ну хорошо. Пусть так...

Но Лешка не хотел уступать.

— Нет, не хорошо! — звонко сказал он. — И ты сама знаешь, что не хорошо.

Зденек засмеялся.

— Оставь его в покое. Это наш всегдашний восхищенец. Раз ему так нравится, пускай идет в метро работать. Там, говорят, люди нужны.

— И пойду! — с вызовом сказал Лешка. — Там знаешь какие люди работают? Почтище тебя в миллион тысячу раз!

Он повернулся к Роберту.

— Я тебе все расскажу. Тебе одному, ладно?

— Ладно, — ответил Роберт.

## 6

Была у Гриши Четверга страсть, которой он не стеснялся и не пытался скрывать: он писал пьесы.

Писал он их удивительно быстро — за несколько дней обычно пьеса была готова. И однажды он собирал нас в каком-нибудь пустом классе и, волнуясь, ероша свои жесткие волосы, начинал читать очередное произведение.

Читал он с выражением, старательно меняя голос, иногда вскакивая и прохаживаясь по комнате, а порой до того бывал растроган собственным творчеством, что у него глаза увлажнялись, и он смущенно отворачивался от нас.

Кончив читать, он обводил нас усталым и одновременно горделивым взглядом и спрашивал:

— Понравилось?

— Понравилось! — хором отвечали мы, потому что, даже если нам и не всегда нравились Гришины пьесы, мы не хотели его обидеть.

Гриша краснел от удовольствия, широко улыбаясь.

— Вот филармония, — бормотал он. — Мне ведь тоже, в общем-то, нравится почему-то...

Темы его пьес были различны, но всегда связаны с событиями, волновавшими всех нас; он писал о папанинцах, челюскинцах, о строительстве каналов в степях, об альпинистах, штурмующих горные вершины, о героях гражданской войны...

Почти все его пьесы шли на нашей школьной сцене. Мы разучивали роли и выступали на школьных вечерах.

Разумеется, Гриша был нашим бессменным режиссером.

Обычно добрый, уступчивый, рассеянный, он преображался во время репетиций, становился придирчивым, несносным. Так однажды он разорался на Лешку и чуть не довел его до слез лишь за то, что Лешка, произнеся положенную ему фразу: «А теперь мы уедем...» — сказал: «А тетерь мы уедем...»

Мне редко приходилось играть в его пьесах.

Гриша сказал мне раз и навсегда:

— У тебя все равно ничего не получится. Нет никаких способностей.

Но однажды он написал пьесу, в которой должно было участвовать что-то около пятидесяти действующих лиц, и он решил дать мне маленькую роль.

Я ликовала. Втайне я считала себя актрисой, мечтала после окончания школы пойти в театральное училище, но никому, даже Вале, даже Роберту, не поверяла своей мечты.

Пьеса называлась «Мы с тобой, Испания». Сюжет ее был несложен.

У отца два сына — республиканец и франкист. Оба любят одну и ту же девушку, по имени Лючия, которая любит республиканца и воюет вместе с республиканцами против франкистов.

В конце пьесы республиканец Педро убивает своего соперника и брата Хосе и вместе с Лючией уходит в горы защищать Мадрид.

Педро играл Сева Столяров. Севу все в школе дружно считали без пяти минут артистом.

Сева ужасно фасонил: на переменах постоянно читал какие-то загадочные книги. Когда его спрашивали, что это за книги, он важно отвечал: «Мастерство актера» Моисси, или «Жизнь Щепкина», или еще что-нибудь в этом роде, при этом он откидывал назад свою красивую голову, как бы позируя перед невидимым фотоаппаратом.

Сева удивительно подходил к своей роли. Когда он вышел на сцену в красной сатиновой рубашке, сдвинув синий берет чуть набок, зал невольно ахнул: испанец, да и только!

Хорош был и Зденек в роли брата Педро — Хосе. Только, по моему, он чересчур намалевал себе брови и так таращил глаза, что казалось, еще немного и они выскочат из орбит. Зденек ходил по сцене, подбоченившись, высоко закинув голову, и поминутно хватался за кинжал, висевший у него на боку.

По его мнению, только так должен был вести себя настоящий франкист.

А вот Лючия — Валя, скажу прямо, совсем не походила на испанку, хотя надела пышный черный парик и щедро намазала морилкой лицо и руки.

Плечистая, с малиновым румянцем на круглых щеках, с чуть заплывшими глазами, она старательно кричала:

— Но пасаран, Педро! Верь мне, они не пройдут!

В пьесе участвовали солдаты республиканской и франкистской армий, бойцы интернациональных бригад, испанцы и испанки.

Мне была поручена роль крестьянской девушки. У меня даже не было имени. За все три действия я должна была произнести несколько раз всего два слова: «Вон франкисты!»

Я выходила на сцену и, приставив ладонь к глазам козырьком, вглядывалась в даль, высматривая врага. Время от времени я кричала истошным голосом:

— Вон франкисты!

Тогда на сцене начиналось столпотворение. Республиканцы, усиленно топоча ногами, бежали за кулисы и там шумели, кричали, стучали в железные кастрюли, имитируя ожесточенный бой. Потом вновь возвращались, повоював сколько следует, а я опять всматривалась в даль и снова кричала:

— Вон франкисты!

Больше мне никаких слов по роли не полагалось.

О, как отчаянно, как иступленно завидовала я артистам — исполнителям главных ролей!

Даже Лешка, игравший отца братьев-соперников, выглядевший препотешно, нацепив длинную бороду из кудели, и тот вызывал у меня бешеную зависть.

Еще когда только распределяли роли, я надеялась, что мне поручат что-нибудь значительное, но Гриша без лишних слов протянул мне тонкий листок бумаги.

— Это тебе, — сказал он. — Не роль — филармония. — По-

смотрел на мое огорченное лицо и утешил меня: — Ты самая первая выходишь на сцену.

Я взглянула на жалкий листок, потом увидела в руках Вали толстую тетрадь с текстом ее роли, и слезы брызнули из моих глаз.

Однако я все-таки решила играть. Я сказала сама себе: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры».

Так говорил обычно Сева Столяров.

У меня была превосходная память. Я быстро выучила свои слова. Да и что тут было учить!

Валя пожаловалась мне:

— Тебе хорошо, а мне-то сколько зубрить!

«Мне бы твою роль, — с горечью подумала я. — Уж я бы показала!»

Но я ничего не сказала Вале. Я была хорошим товарищем и не хотела омрачать ей удовольствие.

Ведь каждый понимал: Валя ужасно гордится своей главной ролью и все ее жалобы только для виду, а на самом деле...

Настал день премьеры. Все мы, артисты, волновались и переживали. Даже самые незначительные, вроде меня.

Раздвинулся занавес. В зале постепенно затих говор и шум. Я вышла на авансцену и стала пристально вглядываться куда-то в конец зала.

Некоторые зрители стали тоже оборачиваться, интересуясь, что это я там увидела.

Гриша из-за кулис громко произнес:

— Не оборачивайтесь, это нужно по роли...

Только тогда в зале перестали оглядываться назад.

Потом на сцене появились Сева и Валя, влюбленные друг в друга, и стали добросовестно произносить длиннейшие тирады.

Гриша любил использовать в своем творчестве долгие периоды и придаточные предложения.

— «Мы боремся за свободу не только испанцев, но и всех людей мира, которые жаждут свободы и равноправия», — чекала Валя.

А Сева, чуть подвывая, как и подобает подлинному артисту, отвечивал ей:

— «За нас, вместе с нами на поле боя выходят бойцы интернациональных бригад, которым дороги и близки дела и интересы трудящихся, которые вместе с нами жаждут свободы и равноправия для всех трудящихся...»

Ну, и так далее, в том же роде, а я все смотрела вдаль, словно ничто меня не касалось, и время от времени кричала:

— Вон франкисты!

Тогда начинался бой. Пыль столбом стояла на сцене. Франкисты и республиканцы яростно сражались друг с другом; у бедного Лешки даже отлетела борода, а Валя потеряла один башмак.

И только я стояла, как тумба, на одном месте, и невидимые миру слезы застилали мои глаза.

До сих пор не могу понять, как сорвались у меня первые, не положенные по роли слова.

Ко мне подошел Сева и стал рядом со мной. Он тяжело дышал после боя и смотрел на меня невидящим взглядом. Он был просто упоен своей ролью.

И вдруг я обернулась к нему и сказала:

— Педро, послушай, что я хочу тебе сказать...

Он обалдело взглянул на меня и отошел в сторону. Я схватила его за руку.

— Подожди, Педро, — сказала я. — Дай мне открыть тебе глаза...

Сладкий холодок вдохновения охватил меня. Внезапно я понеслась, как с горы.

— Слышишь, Педро? Сейчас ты узнаешь страшную тайну!

Сева кашлянул и растерянно обернулся. Но я крепко держала его за руку.

— Там франкисты, кажется, — пролепетал он, тщетно стараясь высвободить свою руку.

Я приблизилась к нему вплотную.

— Брось ты об этих франкистах! Лучше послушай, что я скажу тебе...

Случайно оглянувшись, я увидела безумные, расширенные глаза Гриши, стоявшего за кулисой, но и они не остановили меня. Меня уже ничто не могло остановить.

— Лючия не любит тебя! — проникновенно сказала я, глядя в испуганное лицо Севы. — Она играет тобой, как игрушкой. Она вместе с Хосе смеется над тобой и хочет предать тебя врагам...

В зале воцарилась та гулкая тишина, что так отрадна сердцу каждого артиста. Я чувствовала: меня слушают затаив дыхание, ловя каждое мое слово.

— Но я с тобой, — продолжала я сочинять. — **Слышишь?** Я не дам тебя в обиду, Педро, умру, но не дам!



Он слушал меня, полуоткрыв рот. Глаза его жалобно и недоумевающе моргали.

Но тишина в зале вдохновляла меня, и я говорила и говорила без конца, сочиняя с ходу и по-своему уводя интригу пьесы с ее законного пути.

Наконец я замолчала, передохнула. Сева опомнился, напряг все свои умственные способности.

— Посмотри, — убитым тоном произнес он, — там вроде франкисты.

— Пусть! — закричала я изо всех сил. — Пусть идут франкисты и она, предательница, вместе с ними, но мы с тобой не дадим им пройти!

В этот миг на сцену вбежал Зденек — Хосе. Отчаянно вращая белками и размахивая деревянным, оклеенным серебряной бумагой кинжалом, он закричал:

— А, вот вы где! Наконец-то я поймал вас, предатели!

Эти слова были так же, как и мои, совсем не по роли. Но я не растерялась.

— Врешь! — воскликнула я. — Мы не предатели, это ты предатель!

Сева боязливо шагнул в сторону, однако я не дала ему отступить и снова схватила за руку.

— Смотри, Педро, вот он какой, твой брат!

— Он не брат мне! — запальчиво воскликнул Зденек. — Он классовый враг, наемный убийца!

Зденек так вошел в свою роль, что размахнулся кинжалом и легонько ударил меня по плечу. Тут Гриша, видимо, оправился от оцепенения и выбежал на сцену.

— Занавес! — заорал он. — Занавес, черт побери, сию же минуту!

Но аплодисменты в зале заглушили его слова.

Поначалу он сердился на меня и на Зденека, все-таки как-никак он был автором пьесы. Но он был не злопамятен и сам первый подошел ко мне мириться.

— Филармония, — сказал он, удивленно оглядывая меня. — А ты, смотри-ка... — и покрутил в воздухе пальцами.

В следующей его пьесе, посвященной истории гражданской войны, я играла главную роль — комиссара стрелковой роты.

Это была трудная роль: мне приходилось почти все время говорить; я буквально не помолчала и пяти минут, но я добросовестно выучила всю роль и очень гордилась тем, что ни разу, ни единого разу не споткнулась ни на одном слове.

В те годы вся страна наша жила сообщениями из Испании. Газеты, писавшие о боях республиканцев против Франко и его сообщников, расхватывались в один миг, и привычными, хорошо знакомыми, прижившимися стали слова «Гвадалахара», «Мадрид», «Астурия», «Уэска»...

Мы заучивали наизусть пламенные выступления Пасионарии, вырезали из газет корреспонденции Эренбурга и Кольцова и наклеивали их в школьную стенгазету.

Даже малыши-первачки, играя в мяч или в салки, то и дело кричали друг другу «камарадо» и «но пасаран», и вряд ли я ошибусь, если скажу, что все мы, без исключения, мечтали отправиться в далекую гористую страну, охваченную пламенем войны.

Еще года за два до испанских событий однажды к нам на сбор приехал писатель Мате Залка. Это был невысокий, приземистый крепыш, широкоплечий, темповолосый, видимо очень сильный.

Он вышел на сцену, обвел нас всех собравшихся в зале долгим взглядом и улыбнулся. До сих пор помнятся мне его глаза — мягкие, улыбающиеся, темно-орехового цвета.

Залка спросил нас:

— Так, дорогие мои, что же мне рассказать вам?

— О себе! — закричали мы. — Расскажите о себе!

Он слегка наклонил голову.

— Хорошо, попробую рассказать о себе.

Он был венгр, по-русски говорил с ошибками, но в зале было тихо, очень тихо, и никто, ни один, даже самый смешливый, не усмехнулся, когда Мате Залка ставил ударение не на том слогe или так произносил слово, что не сразу можно было его понять.

Мы слушали о том, как молодой венгерский офицер стал большевиком, красногвардейцем. Как он воевал за советскую власть, пройдя долгий боевой путь от сибирской тайги до степей Украины, полей Галиции и Подолии, от берегов Енисея до берегов Тихого Дона и Черного моря.

И еще мы узнали о том, что Залка с юности мечтал стать писателем.

Гриша Четверг, председательствовавший на сборе, поднял руку. Залка взглянул на него и остановился на полуслове.

— Кто из вас, ребята, читал книги товарища Залка? — спросил Гриша.

— Я! — первой отозвалась Валя. — Я читала повесть «Храбрый портняжка».

— А я читал «Добердо», — сказал Роберт.

Мы всей гурьбой провожали его до дома. Он жил в переулке возле Кропоткинских ворот. Всю дорогу он шутил, расспрашивал нас о том, как мы учимся, как проводим время, какие книги читаем, пишем ли стихи.

Сказал нам, что у него есть дочка Талочка. Так он прозвал ее, а на самом деле ее звали Наташа. Обещал в следующий раз приехать к нам в школу вместе с ней.

Долго не смолкали в школе разговоры о Мате Залка. Мы часто вспоминали о нем и надеялись увидеть его еще не раз в стенах школы.

Но больше он не приезжал к нам. Конечно, никто из нас не знал тогда, что доблестный «генерал Лукач», храбрый командир испанской народной армии, о котором так часто писали газеты, и есть наш московский друг, венгерский коммунист, писатель Мате Залка.

Он героически погиб под Уэской в июне тридцать седьмого года. Погиб, оплакиваемый тысячами бойцов интернациональных бригад, тысячами и сотнями тысяч испанцев.

Но об этом мы узнали много позднее.

## 8

Зимой к нам в школу пришел новый директор. Он появился однажды утром в нашем классе — высокий, плотный, широкой кости человек, показавшийся нам уже довольно пожилым. Ему было в ту пору, должно быть, не больше сорока лет.

Шел урок русского языка и литературы. Учительница Марина Павловна, худая, с постоянно красным острым носиком, очень педантичная и придирчивая, разбирала с нами образ Татьяны Лариной.

Мне хочется несколько слов сказать о Марине Павловне.

Бывают люди, которые живут, что называется, от сих до сих. Все у них расписано, разграфлено, разложено по полочкам. Кажется, улыбаются или сердятся они тоже в силу известного только им, точно составленного расписания.

Марина Павловна была словно бы навечно затянута в жесткий корсет определенных слов, формулировок и положений.

И, казалось, все человеческое чуждо ее художому, строгому

существо, и язык, которым она изъяснялась, был такой же сухой, бесцветный, как и в любимых ею учебниках.

Мы тосковали на ее уроках. Сколько раз, бывало, начнешь своими словами рассказывать содержание какого-либо рассказа или стихотворения, как она тут же взмахнет сухонькой ручкой: «Говори так, как написано в учебнике».

И мгновенно погаснешь и поневоле выдавливаешь из себя стертые, неудобоваримые слова о том, что Лариса Огудалова является представителем уходящего дворянского класса, а Паратов — представитель нового, нарождающегося купечества и что конфликт между ними есть порождение столкновения двух классов тамошнего общества...

Итак, был урок литературы, и Марина Павловна вызвала к доске Лешку и попросила описать образ Татьяны Лариной.

Лешка очень любил Пушкина. Не раз говорил он, что Татьяна — любимая героиня поэта, что нет, пожалуй, во всей русской литературе образа выше, чище, прекраснее Татьяны.

Он так и сказал:

— Самая из всех прекрасная женщина — это Татьяна. Наверно, сам Пушкин любил ее больше всех своих героев...

Но Марина Павловна немедленно остановила его.

— Ты что, прочитал это в учебнике? — спросила она.

— Нет, — ответил Лешка. — Я так считаю.

Чуть заметная улыбка мелькнула на ее тонких губах.

— Это ты считаешь? А как считают авторы учебника литературы? Может быть, вспомнишь?

И в этот момент в класс вошел незнакомый человек. Он улыбнулся, сказал: «Продолжайте, пожалуйста», и на цыпочках пробрался назад, сел на последнюю парту.

К нам не раз приходили на занятия работники роно и Мосгороно, и потому мы не обратили на него особого внимания.

Он сидел, положив голову на руку, и внимательно слушал то, что происходило на уроке, поглядывая на нас быстрыми узкими глазами.

Лешка молчал.

— Я жду, — сказала Марина Павловна.

— Татьяна Ларина — типичный представитель... — громким шепотом подсказала Валя. — Тесно связана корнями с сельским дворянством...

— Татьяна Ларина — типичный... типичный, — пролепетал Лешка. — Тесно связана... Я не могу так! — решительно сказал он. — Не могу!

— Не выучил урока? — спросила Марина Павловна.

Лешка вдруг взорвался, заговорил сбивчиво, взволнованно:

— Я не могу так... Татьяна Ларина — самая замечательная женщина. Я не хочу говорить о ней так!

Марина Павловна подняла руку.

— А ты что, лично знаком с нею?

Мы, конечно, рассмеялись. Но Лешкино лицо было серьезным. Серьезным и грустным.

— Я незнаком с нею! — резко ответил он. — Только я не могу называть ее представителем!

— Садись, — коротко сказала Марина Павловна и вывела в журнале против его фамилии жирный «неуд».

Лешка молча сел на свое место, а она вызвала Зденека.

Зденек знал урок назубок.

— Крепостническая среда и дворянское окружение оказали на Татьяну свое влияние, — лихо пробарабанил он. — Как и ее сестра Ольга, она воспитывалась в тепличной обстановке, далекой от нужд народа...

Марина Павловна слушала его, одобрительно кивая головой в такт его словам.

— Одну минуточку, — раздался голос с последней парты, и мы все повернулись назад. — Скажи, а ты помнишь, какой стала Татьяна после замужества?

Это спросил незнакомец, пришедший в класс.

Зденек усмехнулся, стараясь поймать взгляд Марины Павловны.

— Какой стала? Генеральшей.

— И только-то?

Глаза этого человека откровенно смеялись.

— Пушкин сказал об этом куда ярче... — И он прочитал негромко, наклонив голову:

Как изменилася Татьяна!

Как твердо в роль свою вошла!

Как утеснительного сана

Приемы скоро приняла!

Кто б смел искать девчонки нежной

В сей величавой, в сей небрежной

Законодательнице зал?

Он замолчал. Мы молча смотрели на него.

— Вы кто, товарищ? — сдержанно спросила Марина Павловна. — Новый сотрудник роно?

— Примерно, — ответил он. — Я новый директор. Покровский моя фамилия.

Тонкий красный нос ее покраснел еще сильнее.

— Вот как, — сказала она, деланно улыбаясь. — А мы сегодня, как видите. . .

— Вижу, — вежливо сказал он. — Продолжайте, пожалуйста. . .

Новый директор стал ходить с нами в туристские походы: то в Загорск, то в Волоколамск или в Клин.

Обычно мы загодя готовились к походам, брали с собой котелки для ухи, соль, хлеб, перец, картошку.

Рано утром собирались в школе. Виталий Валерьянович уже поджидал нас.

— По коням, — говорил он.

И мы строились в пары и шли улицами по-утреннему тихой Москвы, и кто-нибудь запевал песню:

Взвейтесь кострами, синие ночи,

Мы — пионеры, дети рабочих. . .

Еще редкие прохожие провожали нас взглядом.

А мы шли гордые, печатая шаг, и сами себе казались очень красивыми, очень ловкими и, само собой, заслуживающими внимания.

Где-нибудь в лесу, на поляне, или на берегу реки устраивали привал.

Темные деревья, которые кажутся особенно загадочными и таинственными в сумерках; искры, летящие от костра в вечернее небо; звезды, переливающиеся между ветвей. . .

Трещат еловые сучья, пахнет расплавленной горячей смолой, лавровым листом из котелка, в котором варится уха; огонь освещает наши лица, наши блестящие глаза. Виталий Валерьянович сидит, поджав под себя ноги, иногда мешает ложкой в котелке, пробует на вкус.

— Хороша уха! — щелкает он языком.

Однажды Виталий Валерьянович предложил нам сыграть в следопытов-разведчиков.

Мы разделились на две группы — белых и красных. И началась борьба за поиски военного донесения, которое было спрячено в каком-то дупле одного из деревьев.

Это была очень увлекательная игра. Мы ползали по шершавым, пахнущим хвоей дорожкам, выслеживая друг друга, оставляя за собой приметы, по которым союзники могли оты-

скасть один другого, — сломанную ветку, оторванную пуговицу, шерстинку, завязанную на кусте.

Виталий Валерьянович тоже играл вместе с нами.

И только Зденек отказался участвовать в игре.

— Детский сад! — снисходительно и категорично сказал он. — А я уже давным-давно позабыл о детском саде...

Он улегся под деревом, раскрыл книгу. Казалось, его никто и ничто не интересует, — только книга, которую он держал перед глазами.

Сперва мы подбегали к нему, звали с собой, он отмахивался:

— Оставьте меня в покое...

И голос его при этом звучал утомленно и насмешливо, как будто он был старше всех нас на добрый десяток лет.

Валя не выдержала, стала тянуть его за руку:

— Зденек, брось дурака валять! До чего интересно, если бы ты знал!

Как бы нехотя он оторвался от книги. Сощурился, медленно оглядел Вальку.

— Погляди на себя. На кого ты похожа?

Валя вспыхнула, испуганно одернула на себе платье.

— А что? На кого?

— Красная как рак, волосы, как у ведьмы...

Валя заморгала глазами.

Может быть, она как бы со стороны вдруг увидела себя, должно быть, и в самом деле красную как рак, растрепанную, неуклюжую.

Тихо опустилась рядом с ним на землю.

— Вот и хорошо, — спокойно заметил Зденек. — Посиди, успокойся.

Лешка, пробегающая мимо них, крикнул торопливо:

— Валька, идем! Кажется, напали на след.

Валя промолчала, а Зденек усмехнулся.

— Гуляй дальше, друг, знаком будешь...

И сделал вид, что внимательно, очень внимательно читает свою книгу.

Но когда я проползла мимо них — я пробиравась к сосне, где у нас должен был состояться военный совет, — я заметила: Зденек вовсе не читает, а с любопытством следит за мной, и Валя смотрит на меня, и в глазах ее неподдельный интерес и с трудом подавляемая зависть, а книга Зденека раскрыта все на одной и той же странице...

Мы все больше сближались с Робертом. Незаметно для самого себя он вдруг вытеснил Эденека. И получилось так, что главным у нас вместо Эденека стал Роберт.

Почему? Может быть, потому, что он был правдивый. Он не умел, не мог сказать даже самой пустяковой неправды, не стремился выделиться, щегольнуть своим умом, или памятью, или силой.

Мы не только подружились с Робертом, мы полюбили его. Лешка Елистратов просто ходил за ним по пятам, смотрел ему в рот, подражал его голосу, похоже, даже заикаться стал, чтобы еще больше походить на Роберта.

Валя откровенно признавалась:

— Роберту можно верить!

Помню, однажды многострадальный Лешка попал в больницу — он упал на катке и сломал ногу.

Мы с Валею отправились навестить его. Врач в больнице сказал нам, что кости сильно раздроблены, возможно даже, они срастутся криво, и Лешка обречен на всю жизнь остаться хромым.

Валя и я испугались, но постарались не показывать Лешке своего испуга.

Мы вошли в палату с очень веселыми лицами, смеясь немного громче, чем это полагалось.

Увидев нас, Лешка заморгал, и нижняя губа его задрожала.

— Надо же так, — сказал он. — Все катаются, и хоть бы что, а я, наверное, охромею навсегда...

Очевидно, до него дошли какие-то разговоры в больнице.

Мы с Валею наперебой стали утешать его.

Мы приводили множество примеров, известных нам, рассказывали о том, как своими глазами видели разможенные руки и ноги, которые так хорошо срослись, что стали еще лучше, чем были. Мы смеялись и трещали наперебой, и мало-помалу Лешкино лицо немного повеселело, он даже умял при нас бутерброд с колбасой и яблоко, а до этого, по его словам, ему кусок в горло не лез.

Потом мы ушли, и на наше место пришел Роберт.

Однако он не пробыв у Лешки и десяти минут. Он вышел к нам. Мы ждали его в садике, перед больницей. Сказал, заикаясь сильнее обычного:



— Черт знает что! Лучше бы я не ходил...

И пояснил нам: Лешка спросил его, как он думает, срастет ли нога, а он, Роберт, ответил, что врачи боятся — вдруг он останется хромым.

— Недотепа ты! — с досадой сказала Валя.

— А что же я должен был ответить? — спросил Роберт, с виноватым видом глядя на Валю.

— Все, что угодно, врать в три короба, только бы успокоить его!

— «Врать в три короба»! — повторил Роберт и вдруг рассердился: — Я лучше ходить не буду!

Он так горячо, так страстно произнес эти слова, что мы сразу поверили: он и в самом деле лучше ходить не будет, а врать не сумеет, как бы мы его ни просили.

Много позднее, когда Лешкина нога все-таки, наперекор всем опасениям, срослась правильно, кто-то из нас рассказал Грише Четвергу о словах Роберта.

Гриша сказал:

— А что ж, за одно это уже можно уважать человека!

И вскоре Гриша предложил нам:

— Давайте стараться всегда и во всем говорить одну лишь правду. Вот как Роберт.

— Давайте, — подхватила Валя, которая всегда была, как она говорила, за правду, хотя и могла нередко приврать. — Я — за!

Лешка спросил глубокомысленно:

— Всегда? А это все-таки трудно всегда говорить одну лишь правду?

— Это дело привычки, — ответила ему Валя, словно сама только и делала всю жизнь, что говорила одну лишь правду. — Привыкнешь, и уже совсем не будет трудно.

— Верно, — сказал Гриша и стал приводить нам примеры того, как правдивы, безукоризненно честны были великие люди прошлого.

Он рассказал о Сократе и Копернике, которые никогда не лгали и потому поплатились жизнью, о декабристах, не боявшихся выложить всю правду прямо в лицо царю.

Зденек шепнул Вале на ухо:

— Выходит так: будешь говорить одну правду — погибнешь!

— Пусть так, — упрямо сказала Валя. — Все равно надо стараться говорить правду. Только правду!

Озабоченно сдвинула брови.

— Ну, а если все-таки вдруг совершь? Нечаянно, не желая, но ведь и так бывает...

— Не должно быть! — отрезал Гриша. — Раз договорились — стало быть, выполняй!

— Я придумал, — сказал Зденек, покусывая свои четко очерченные губы. — Я придумал: кто соврет — платит штраф.

— В каком размере? — спросила практичная Валя. — И по том чем?

Зденек задумался. И мы все тоже не знали, что сказать.

Лешка поднял руку.

— Я знаю, — сказал он. — Пусть будет такой штраф — одно перо.

— Какое перо? — переспросила я.

— Обыкновенное, — ответил Лешка. — Каким пишем.

— Филармония, — одобительно сказал Гриша. — Такой штраф доступен каждому.

Он сбегал в буфет и принес оттуда пустую коробку из-под печенья.

— Сюда будем складывать перья.

— Пусть их совсем не будет, — вздохнул Лешка.

— Пусть, — согласился Гриша.

Мы держались что-то около недели. Мы скрупулезно старались говорить одну лишь правду везде, где бы мы ни были, — дома, в школе, на катке, в кино...

Но всегда правду говорить тяжело, это я поняла на собственном примере.

Лучше всех учителей ко мне относился учитель географии Алексей Михайлович Козлов. За глаза мы его звали «Козел», не только потому, что у него была такая фамилия, а еще и потому, что он любил петь и всерьез считал себя обладателем очень приятного голоса.

Он часто выступал на школьных вечерах самодеятельности, исполнял романсы Глинки, Чайковского, русские народные песни. Пел он, закатив глаза и прижимая руки к сердцу, так искренне переживая и волнуясь, что мы боялись иной раз, как бы он не пустил петуха.

Он вызвал меня к доске, попросил показать на карте Мадагаскар и рассказать, что я знаю о Мадагаскаре, о флоре, фауне, народонаселении, основном занятии жителей.

Я не выучила урока и сказала ему прямо, что не могу отвечать.

Он удивился.

— Почему не можешь? — спросил он.

В другое время я бы нашлась, что ответить. Я бы с ходу придумала какую-нибудь изнуряющую меня болезнь или сослалась бы на пожар, обвал потолка в доме или что-нибудь еще в этом же роде, что помешало мне выучить урок.

Но теперь я должна была ответить правду. Я сказала, внутренне страдая и томясь:

— Я не знаю урока.

Он покачал головой. Глаза его смотрели на меня с удивлением и даже, как мне показалось, сочувствием.

— Ты, может быть, больна? — спросил он.

Наверное, он хотел помочь мне выкрутиться или просто не желал портить журнал плохой отметкой.

Весь класс выжидательно смотрел на меня. Особенно врезались мне в память немигающие, потемневшие глаза Роберта.

— Нет, не больна, — сказала я. — А просто не выучила урок, потому что вчера была на катке и очень устала.

Я увидела, как Валя ободряюще улыбнулась мне, и, кажется, услышала вздох облегчения Роберта.

Козел только руками развел. Он ожидал всего, что угодно, только не такого ответа. Но ведь он не знал о нашем уговоре.

— Я ставлю тебе неуд, — сказал он. — И до конца четверти не буду вызывать к доске за дерзкий ответ.

Я вернулась на свое место. Роберт, сидевший на соседней парте, поднял руку.

— Разве можно за правду? — спросил он, заикаясь. — За то, что человек говорит правду, за это уже больше не вызывать его?

Козел аккуратно вывел «неуд» против моей фамилии в журнале. Потом поднял глаза и посмотрел на Роберта.

— При чем здесь правда? — спросил он. — Человек, — он подчеркнул слово «человек», — не знает урока, потому что, видите ли, он был на катке и очень устал. Что же мне прикажете, по головке человека погладить? Или отлично поставить?

— Но человек сказал правду, — упрямо стоял на своем Роберт.

Козел был очень вспыльчив. Он так сильно хлопнул журналом по столу, что мы все вздрогнули.

— Молчать! — крикнул он. — Прошу меня не учить!

Валя повернулась к Роберту.

— Замолчи, — прошептала она. — Больше ни слова...

Роберт взглянул на меня. Я прижала палец к губам, умоляюще глядя на него.

— В следующий раз он обо всем позабудет и вызовет ее, — сказала Валя.

Роберт нахмурился, отвернулся от нас.

Он уступил, но я видела, что он считает и учителя и нас с Валей неправыми.

Как бы нам трудно ни было, мы старались, несмотря ни на что, свято блюсти наш уговор. Мы говорили правду, одну лишь правду.

Первым сорвался Лешка. Лешка не был лгун, просто он был фантазер, именно фантазер, который сам первый верит тому, о чем рассказывает.

Иногда он приходил в школу и, расширив глаза, таинственным шепотом говорил, как он только что встретил подозрительного незнакомца, который прошел мимо него и так сверкнул глазами, что он, Лешка, сразу понял: что-то неладно.

— Что неладно? — спрашивал дотошный Зденек.

— А вот увидите, — загадочно отвечал Лешка.

И, если вдруг, на Лешкино счастье, и в самом деле случилось что-нибудь: взломали замок в магазине, обокрали чью-то квартиру, трамвай сошел с рельсов, Лешка с победоносным видом оглядывал нас.

— Что я говорил?

Он мечтал стать путешественником, отправиться в неведомые страны, а сам никогда не бывал дальше деревни, где проводил лето у своих родных.

Дома у него было много книг Жюль Верна, Стивенсона, Фенимора Купера, Майн Рида. Лешка знал их почти наизусть. Он рассказывал о Проливе Бурь, о каторжных тюрьмах Америки, о золотых приисках Клондайка так, словно сам он все это видел своими глазами. К слову сказать, по географии он шел одним из первых. Это был самый его любимый предмет.

Однажды нам в школе дали задание — написать сочинение на вольную тему.

— Если хотите, можете написать о каком-нибудь интересном, выдающемся событии вашей жизни, — сказала учительница русского языка и литературы, которая заменяла временно Марицу Павловну, хорошенькая, кокетливая брюнетка, любившая одеваться в яркие цвета, преимущественно в красный и в розовый, и потому прозванная нами «Краснушка».

Может быть, никто бы и не узнал о том, что написал Лешка, но учительница, принеся наши тетради в класс, спросила его:

— Разве на Черном море бывают пассаты?

Мы навострили уши. Лешка встал и, отчаянно краснея, ответил:

— Бывают.

Краснушка поправила воротничок своей малиновой блузки.

— Ты что, сам, своими глазами видел у берегов Сухума кораблекрушение?

Лешка низко опустил голову.

— Что ж ты молчишь?

— Да, — пролепетал Лешка.

Мне кажется, он готов был разрыдаться. Его руки так крепко схватили крышку парты, что косточки пальцев даже побелели.

Наша Краснушка не только любила яркие цвета, но еще и обладала добрым сердцем. Она сжалилась над Лешкой и не сказала больше ничего.

А он весь урок просидел, уткнувшись в одну и ту же страницу учебника.

Зато, когда кончился урок, мы уже не отставали от Лешки. Особенно отличался Зденек.

— Кораблекрушение, — говорил он, щуя глаза. — Вот оно как! Своими глазами видел? И пассаты, и, должно быть, Летучий голландец тоже, надо думать, встретился на пути. А помнишь мертвых матросов на реях с бутылками грога в руках? Ну, не стесняйся, Леша, валяй, выкладывай все...

— Ты же никогда не был на Черном море! — возмущалась Валя. — И разве там бывают кораблекрушения?

Один Роберт ничего не говорил, но в глазах его сквозила явная жалость к бедному, затравленному Лешке.

В конце концов Лешка сдался и чистосердечно покался нам, что он все это выдумал.

— Выдумал?.. — злорадно протянул Зденек. — Значит, соварал. А наш уговор?

Лешка чуть не плакал.

— Я не знал, о чем писать.

— Как так — не знал? — удивилась Валя. — Сочинение на вольную тему. Пиши, о чем хочешь.

Лешка прерывисто вздохнул.

— Да, о чем хочешь... Вот вы все говорили, кто о чем напишет, у вас у всех был какой-нибудь интересный случай, а я, что мне было делать? У меня же ничего никогда интересного не было.

— Так-таки не было? — спросил Зденек.

Лешка кивнул.

— Ну ничего, сколько я ни вспоминал. Вон Валя, например, написала, как она тонула и ее вытащили, а я ни разу, ни одного разу не тонул, я ведь, сами знаете, не люблю плавать и не умею.

Он так жалобно смотрел на нас, словно чувствовал себя виноватым в том, что ни разу в жизни не тонул.

— Ладно, — смилостивилась Валя. — Поговорили, и хватит.

— Нет, не хватит, — сказал Зденек. — Пусть платит штраф!

— Так он же ничего не соврал, — вмешалась я. — Он только написал...

Зденек был неумолим.

— На бумаге или не на бумаге, все равно, уговор он нарушил.

Роберт тронул Лешку за плечо.

— Если тебе нужно перо, я дам.

— У меня есть, — надменно ответил Лешка. — Чтоб у меня еще и пера не было!

Мы рассмеялись.

— Хранил на всякий случай, — сказала Валя.

Мы отправились в пионерскую комнату, и Лешка опустил в коробку перо. Это был первый штраф, первое нарушение уговора.

Постепенно коробка заполнялась перьями. Конечно, всегда говорить правду было просто невозможно.

Однажды Гриша Четверг заглянул в коробку, до половины полную перьями, укоризненно пожал плечами.

— Эх вы, правдолюбцы. Филармония, одно слово...

Но спустя несколько дней и сам положил перо.

— Был один случай, — коротко пояснил он. — Пришлось покрывать душой.

Он не сказал, в чем дело, но сам, честно следуя уговору, наказал себя. Перо Гриши было отличным, очень тонким, называлось «рондо», и им было удобно рисовать.

Однажды я улучила момент и взяла себе это перо, а взамен положила другое, порядком истертое, и никто ничего не заметил.

Мне полюбились и на всю жизнь запомнились московские улицы, площади, парки. Может быть, потому, что с каждым из них было связано для меня что-то важное, интересное и нужное только для одной меня.

До сих пор, слыша слова «Серебряный бор», мне вспоминается дождливый июльский день, просторные луга, привольно раскинувшиеся на другом берегу, и наша лодка, в которой сидим мы с Лешкой и Роберт.

Лешка старательно налегает на весла.

Лицо Лешки покраснело от напряжения. Роберт решительно встает со своего места.

— А ну, дай-ка я погребу, мне тоже охота...

Может быть, вовсе ему не такая уж охота грести, но Лешка устал, ему нельзя переутомляться, и вообще мы должны незаметно оберегать Лешку.

Теперь, когда у Лешки свободны руки, на душе вроде полегчало. Он говорит, говорит без конца, а мы слушаем его. Роберт гребет, а сверху, с серенького и хмурого не по-летнему неба, сыплет на нас мелкий надоедливый дождик.

Роберт методично поднимает и опускает весла. Крупные, продолговатые, словно серые виноградины, капли воды, сверкая, падают с весел на воду.

— Давайте займемся самоанализом, — говорит Лешка.

Мы с Робертом вопросительно взглядываем на него.

— ?!

— Неужто не знаете, что это такое? — В голосе Лешки звучит неприкрытое самодовольство: дескать, вы не знаете, а вот я знаю!

— Нет, — откровенно признается Роберт. — С чем его едят?

— Это очень непростая штука... — важно изрекает Лешка. Я обрываю его:

— Где-нибудь вычитал?

Но Лешка не отвечает мне.

— Очень даже непростая, — повторяет он. — Понимаете, надо стараться всегда и во всем наблюдать за собой и как можно беспощаднее относиться к себе.

— Что значит беспощаднее? — спрашивает Роберт.

— А вот так. Надо со стороны видеть себя и оценивать свои поступки так, словно ты это вовсе не ты, а какой-то чужой, посторонний человек.

Он обводит нас горделивым взглядом. Он видит, что мы поражены его словами.

— Вот еще! — возмущенно говорю я. — Как это можно так, что я сама для себя чужая? Выходит, я это не я?

— Не кипятись, — останавливает меня Роберт. — Я уже все понял. Надо научиться быть объективным к себе.

— Верно! — кричит Лешка.

Он подпрыгивает на скамейке, и лодка наклоняется набок.

Я вижу что есть сил, и Лешка испуганно хватается за сиденье. Один только Роберт не растерялся, спокойно взмахивает веслами.

Когда все успокаиваются, Лешка начинает вновь:

— Если все понятно, давайте займемся самоанализом.

— Хорошо, — несколько неуверенно говорю я.

— Перечисли мне свои достоинства и недостатки.

— Перечислить?

Я думаю. Чего во мне больше — достоинств или недостатков? Как-то Виталий Валерьянович привел нам слова Шекспира: «В каждом хорошем так много плохого и в каждом плохом так много хорошего, что невозможно нам судить друг о друге».

Пусть так. Друг о друге судить невозможно, а о самом себе?

И я говорю:

— Мои недостатки: невнимательная, рассеянная, злопамятная, неаккуратная.

— А достоинства? — спрашивает Лешка.

Я чувствую, что краснею.

— Давай, — ободряюще замечает Роберт. — Валяй о себе, как о чужой!

И я добросовестно перечисляю:

— Добрая, начитанная, старательная, покладистая, хороший товарищ, умею держать слово...

— Хватит! — решительно обрывает меня Лешка. — Если тебя не остановить, до вечера будешь перечислять, все будешь искать в себе всякие добродетели!

Я не перечу ему. В чем-то Лешка прав. Пусть немного, но прав.

И я обращаюсь к Роберту:

— Давай ты.

Он качает головой.

— Не хочешь или не можешь?

— Нет, — отвечает Роберт, — не в том дело. Просто, какие мы для себя чужие-расчужие, все равно о недостатках своих



будем говорить в полрта, а достоинства как начнем перечислять, так только держись...

— Вот уж неправда, — возражает Лешка. — Я, например, буду объективным на все сто!

Он загибает коротенькие пальцы.

— Начну с недостатков. Значит, так: я злой, вспыльчивый, несдержанный...

Он умолкает.

— И это все? — спрашиваю я.

Лешка думает, прежде чем ответить.

— По-моему, у меня больше нет никаких недостатков, — виновато говорит он.

— Тогда давай достоинства, — замечаю я.

Он открывает было рот, но, поймав мой откровенно насмешливый взгляд, сердито отворачивается.

— Не хочу!

Роберт смеется.

А лодка плывет все дальше, огибая извилистые берега, и дождь ударяет о спокойную, приглаженную гладь Москвы-реки.

## 11

Снова наступили каникулы. И мы разъехались кто куда. Я жила у бабушки в деревне. Почему-то теперь, когда я была далеко от дома, мне особенно привлекательной казалась моя московская жизнь.

Я вспоминала школу, большой двор, заросший тополями, Донской монастырь, с его мраморными, медленно рассыпавшимися памятниками, и до того мне хотелось обратно, что я начинала считать дни, когда вернусь домой.

Даже неумолимый ГЕМ издали казался мне довольно сносным. И мне хотелось порой увидеть знакомые пронзительные водянисто-голубые глаза, рыжую щеточку усов, услышать тонкий, ехидный, удивительно въедливый голос.

Я уговорила бабушку, и она отправила меня домой в середине августа.

Стояли теплые, погожие дни ранней осени. Над Москвой синело ясное небо и зелень была еще густой и пышной, и по утрам легкий теплый дождь совсем по-летнему негромко стучал в окно, но порой вдруг налетал порывистый ветер, вздымая пыль, и солнце заглатывали тяжелые тучи, проплывавшие че-

редой, и тогда верилось: осень, настоящая осень не за горами.

Как хорошо было снова лицом к лицу повстречаться с Москвой! Два месяца я не видела Москвы, и она казалась мне еще прекраснее, чем прежде.

На Калужской улице ломали деревянные дома и возводили фундамент для новых многоэтажных зданий.

По Мытной улице стал ходить голубой, рассыпавший искры троллейбус.

Словно впервые я осознала могучее, ни с чем не сравнимое чувство дома. Да, это был мой дом — и наш Верхний Чудаков переулок, и Калужская площадь, и тихая Мытная улица, и Парк культуры...

Уже все были в Москве: и Зденек, и Валя, и Роберт, и Лешка.

Зденек и Роберт выросли, особенно Зденек. На лице его темнел пушок, и он то и дело поглаживал себя по щекам, приговаривая:

— Как назло, забыл побриться...

Роберт, казалось, похудел еще больше, а Валя потолстела, словно бы раздалась вширь.

Само собой, она по-прежнему была влюблена в Зденека, а Зденек — это увидели сразу все мы — кидал беглые, словно бы равнодушные взгляды на Лилию Островскую.

Бывают такие девочки: растут бок о бок с тобой, тихие, неприметные, их не видишь, не замечаешь, здесь ли они или их нет.

И вдруг, внезапно, в один прекрасный день гадкий утенок обернется прелестным лебедем.

Так было и с Лилей. Жила-была девочка как девочка, в меру некрасивая, молчаливая, даже угрюмая. О ней никто не думал, никто не говорил.

И вот осенью мы встретились в школе и оказалось: Лилия — красавица.

Не то, чтобы черты лица были такие уж правильные, но все в ней, от гордой посадки маленькой головы до румянца на щеках, все было до того гармоничным и пленительным, что не одна я, все мы только молча дивились: что это произошло с Лилькой?

Может быть, какой-нибудь особенно придиричивый художник вряд ли одобрил бы ее нос, широкий, слегка приплюснутый, и высокие приподнятые скулы, и яркий большой рот, но все вместе это было прекрасно.

И она сама, видимо, сознавала свою неожиданную привлекательность. Сознавала, и гордилась, и в то же время немного стыдилась удивленных взглядов, которые мы все на нее бросали.

Зденек, очевидно, влюбился. Все мы сразу же увидели это.

Одна Валя ничего не замечала.

Мы шли с нею из школы домой, и она, как всегда, говорила о Зденеке, о том, что он вырос, не правда ли, стал совсем взрослый...

Я сказала ей:

— Зденек бежит за Лилькой.

Валя удивилась.

— Еще чего!

Потом задумалась, помрачнела.

— Уж ты скажешь...

Однако мои слова, наверное, запали ей в душу.

Она стала ловить взгляды Зденека, глядела то на него, то на Лилию и в конце концов все поняла.

— Что ж, — сказала она мне упрямо. — Что с того? А я все равно...

И оборвала себя. Но я и так поняла, что она хотела сказать.

Однажды Зденек собрал всех нас возле себя и сказал, краснея:

— Тут один мой товарищ стихи написал...

— Какой товарищ? — спросил Лешка.

Зденек неопределенно махнул рукой.

— Там, один, ты не знаешь... Ну так как, хотите послушать?

— Валяй, — сказал Роберт.

Зденек стал читать, слегка завывая:

И скучно, и грустно

И...

К черту Пушкина, к черту Лермонтова.

Скука.

Даже в этом лазурном Сорренто.

Скука.

Только ты, только ты одна в моем сердце.

Я не знаю, что делать,

Где от дома твоего дверца.

Я хожу по Москве и тоскую,  
По тебе одной тоскую,  
Где еще мне найти такую,  
Такую, похожую на стату́ю?

Он обвел нас гордым и одновременно боязливым взглядом. И мы сразу поняли, кто написал эти стихи. Должно быть, Валя поняла первой.

— Очень хорошо, — грустно сказала она. — Замечательные стихи. Прямо как Маяковский.

— Да, — согласился Лешка. — Конечно, очень хорошие стихи.

Зденек перевел глаза на Роберта.

— Мне не нравится, — сказал Роберт.

— Чем же? — вызывающе спросил Зденек.

— Всем. Ничего хорошего.

Длинные зеленоватые глаза Зденека потемнели.

— Чем же стихи тебе не нравятся?

— Кто написал их? — вместо ответа спросил Роберт.

— Кто бы ни написал, а по-моему, стихи отличные, — ответил Зденек.

— Я знаю, кто написал! — выскочил Лешка и поднял руку. — Это ты написал!

Смуглые от загара щеки Зденека вспыхнули.

— А тебе что?

— Нет, скажи правду, это ты написал? — не отставал Лешка.

— Ну, я, — сказал Зденек. — Ну и что с того?

— Плохие стихи, — сказал Роберт. — Ты вдумайся и поймешь, что очень плохие.

Зденек сощурил глаза.

— Завидуешь?

— Ты дурак! — вмешалась я. — Ну чему тут завидовать? Стихи, конечно, неудачные, но и у многих великих поэтов бывали неудачные стихи.

— А я стихи не пишу, — заметил Роберт спокойно. — Чем же мне завидовать?

Баля посмотрела на пылающее лицо Зденека и, должно быть, невольно пожалела его.

— Чем же они плохие? — спросила она Роберта. — Ты объясни нам, и ты, Катя, тоже.

Роберт пожал плечами.

— Да ты сама видишь, что стихи не удались, разве не правда?

— Правда, — вздохнув, ответила Валя.

Наверное, больше всего на свете ей хотелось бы, чтобы эти стихи были посвящены ей.

Увы, она хорошо знала, кому они посвящены и о ком тоскует Зденек.

— Ладно, — примирительным тоном начал Роберт. — Катя права, даже у самых больших писателей бывали неудачи.

— Конечно, — поддержал его добросердечный Лешка. — Только я не понимаю, почему ты пишешь «в Сорренто»? Сорренто, по-моему, в Италии.

— А почему Пушкина и Лермонтова к черту? — спросила я. — Они же классики!

Валя вдруг осмелела. Или в ней разыгралось чувство справедливости, или она и вправду поняла, что стихи никуда не годятся.

— Стату́я — неправильное ударение, не стату́я, а ста́туя! Зденек пожал плечами.

— Дело не в ударении, — сказал он насмешливо. — И вообще, больше я вам стихи не читаю. Договорились?

Не дожидаясь ответа, он медленно повернулся и отошел от нас.

— Все-таки ста́туя, — сказала Валя, глядя ему вслед. — Как хотите, ста́туя...

Зденек дулся и не разговаривал с нею целых два дня.

Больше он не читал нам стихи. Само собой, он продолжал сочинять их. Валя призналась мне, что как-то видела у него целую тетрадь, исписанную сплошь стихами, только она не успела прочитать их. Над каждым стихотворением было выведено: «Л. О.».

Мы всё реже собирались в Донском монастыре, а если и собирались, то без Зденека.

И Валя, печально моргая ресницами, признавалась:

— Скучно без него.

Однажды, когда мы после уроков сидели на бревнах на школьном дворе, Лешка спросил ее:

— Бывают ли сумасшедшие от любви?

— Наверное, бывают, — рассеянно ответила Валя.

— Значит, ты помешалась, — уверенно сказал Лешка. — Ты сошла с ума от любви.

Валя вспыхнула.

— Как это — помешалась? Ты думай, прежде чем говорить.

— А так вот, — продолжал Лешка. — Вчера ты уд заработала по географии, а раньше я тебя спрашиваю, где Роберт, а ты отвечаешь: «Да, конечно, дни стали короче».

Валя растерянно оглянулась на меня.

— Разве? — спросила она.

Я ничего не ответила ей.

— Кто спрашивал Роберта? Я здесь, — сказал подошедший к нам Роберт.

— Я, — ответил Лешка и, смеясь, добавил: — Я говорю, наша Валька помешалась от любви.

Он посмотрел на Роберта, ожидая ответной улыбки, но Роберт сухо бросил ему:

— А ну хватит!

И Лешка затих, словно пришибленный.

Вечером, когда мы шли домой, Валя сказала мне:

— Мне надо с тобой поговорить.

Я поняла, разговор будет серьезный. Валины глаза смотрели необычно сумрачно.

— Я не могу больше, — сказала она.

— Что не можешь? — спросила я.

— Я написала Зденеку письмо.

— Письмо? — удивилась я. — Зачем? Ты же и так видишь его каждый день.

Она махнула рукой.

— А, «видишь»? Какое там... Он же бежит от меня.

— О чем же ты написала ему?

Она вздохнула.

— Даже не знаю, как тебе сказать. В общем, я пишу ему, почему он бежит от меня. Ведь я ничего плохого ему не сделала, и потом, я всегда была ему другом и хочу, чтобы мы всегда оставались хорошими друзьями...

Голос ее дрожал.

Я не выдержала.

— Ты и в самом деле сошла с ума. Лешка прав, ты помешалась! Как тебе не стыдно?

Я посмотрела на ее расстроенное, несчастное лицо и замолчала. Это было все равно что бить лежачего.

Я пожалела о том, что с нами не было Роберта. Уж он, наверное, не стал бы ругаться, он бы нашел самые верные, умные слова.

— Значит, я дура? — печально спросила Валя. — Да, дура? Скажи правду, не надо было писать письмо?

— Ладно, — сказала я. — Что теперь жалеть? Что сделано, то сделано, обратно не вернешь.

Так говорил когда-то мой дедушка. И я повторила сейчас его слова.

Но Валя никак не могла успокоиться.

— Нет, очевидно, не надо было писать...

Она оказалась права.

## 12

Это случилось спустя два дня, на уроке математики.

Наш классный, ГЕМ, не начиная урока, долго молча оглядывал весь класс. И мне подумалось, сейчас он скажет что-то такое, что неприятно поразит нас.

Я не ошиблась.

— Я должен сегодня поговорить с вами, как ваш наставник, — скрипучим голосом начал он. — Как ваш наставник! — Он поднял сверху свой тощий палец. — Ибо я отвечаю за каждого из вас, поскольку являюсь вашим классным руководителем.

Он посмотрел на Валью. Она вздрогнула, опустила глаза, а он продолжал, глядя на нее в упор:

— Есть в нашем классе девочки, для которых такие понятия, как самолюбие или девичья честь, являются, по всей видимости, пустым звуком. Девочки, которых нельзя упрекнуть в скромности, ибо скромность для них вещь недостижимая и попросту излишняя.

Я уже боялась смотреть на Валью, чувствовала, он говорит о чем-то, что касается ее, ее одной.

А он вынул из кармана какой-то листок, разгладил его, потом нацепил очки на нос. Все это он проделал страшно медленно, как бы наслаждаясь каждым своим движением. Потом снова обвел глазами весь класс — мы сидели затаив дыхание, было так тихо, что слышно было, как медленно шелестят за окном листья, — и начал читать:

— «Мы были с тобой всегда хорошими товарищами. Для меня не было и нет никого, кто бы был для меня таким же, как ты. Почему же ты бегаешь от меня? Почему не хочешь поговорить со мной? Я же тебе ничего плохого не сделала. Я хочу только, чтобы мы дружили так же, как дружили всегда, и чтобы ты не бегал...»

— Это нечестно! — раздался голос Роберта.

Все вздрогнули. Я оглянулась. Роберт, сидевший позади меня, встал и подошел к ГЕМу.

— Это нечестно! — повторил он. — Вы не имеете права читать чужие письма!

ГЕМ снял очки и с нескрываемым удивлением уставился на Роберта.

— Как ты сказал? Повтори, мой милый, — сказал он тонким, даже ласковым голосом.

— Письмо написано не вам, и вы не имеете права читать его! — отчетливо произнес Роберт.

Конечно, я поняла, чье письмо читал ГЕМ. Да, наверное, не я одна поняла это. Лешка рассмеялся, потом поймал взгляд Роберта и разом осекся. Мельком я увидела лицо Лили Островской — прекрасное, насмешливое лицо. Яркие губы ее скривились в безмолвной усмешке. А позади нас виднелось растерянное, хмурое, недоумевающее лицо Зденека.

«Как же попало письмо Вали к ГЕМу?» — подумала я.

Между тем события в классе шли своим чередом.

ГЕМ аккуратно сложил листок и спрятал его в карман.

— Я бы попросил тебя, Курков, идти на место, — сказал он все тем же опасно ласковым голосом. — А о твоём поведении мы поговорим в кабинете директора.

— Хорошо, — согласился Роберт, продолжая стоять перед ГЕМом. — Мы можем говорить где угодно, но так поступать нельзя! Это нечестно, непорядочно читать чужие письма, да еще вслух!

Я вновь оглянулась на Зденека. Он глядел на Роберта, лицо его то вспыхивало румянцем, то бледнело, но он не произнес ни слова.

Мне подумалось, что, наверное, он попросту завидует прямоте Роберта уже из-за одного того, что сам никогда-никогда в жизни не мог бы так поступить.

С учителями он всегда был вежлив, держался осторожно и, как мне порой казалось, даже подобострастно.

ГЕМ встал, выпрямился и вышел из класса.

— Теперь будет история! — выдохнул Лешка.

Мы все зашумели, закричали в один голос. Громче всех кричал Лешка:

— Конечно, не имеет права читать чужие письма! Это безобразие, мы уже не дети!

Тонкий, нежный голос Лили прозвучал на весь класс:



— Интересно все-таки, а кто написал это письмо?

Она повела своими наивными глазами на Валу. Губы ее улыбались насмешливо и брезгливо.

Внезапно Валя вскочила со своего места и выбежала из класса.

— На воре шапка горит, — невозмутимо сказала Лиля.

— Замолчи! — крикнула я. — Сию же минуту замолчи!

Она рассмеялась, тряхнула пушистыми волосами.

— Почему это я должна замолчать?

— Замолчи, Лилия, — негромко сказал Зденек.

Она обернулась, пристально посмотрела на него.

— Ты так хочешь?

— Да, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты замолчала.

Она усмехнулась.

— Хорошо, я замолчу. А ты больше не давай мне читать письма, которые тебе пишут. . .

Каждое слово ее было отчетливо слышно в наступившей тишине.

Зденек опустил голову. Он боялся встретиться взглядом с кем-либо из нас.

Приглушенный шепот зашелестел в классе.

Лешка, сосед Зденека, схватил его за руку.

— Она врёт! — воскликнул он. — Правда, скажи ей, пусть не врёт!

Роберт подошел к Лешке.

— Она не врёт, — произнес он тихо, но мы услышали его слова. — Зденек знает, она не врёт.

— Брось! — вспыхнул Лешка. — Ты откуда знаешь?

— Вот что, — сказал Роберт все так же тихо. — Садись-ка сюда. — Он кивнул на парту возле окна. — Здесь свободное место.

— Хорошо, — послушно отозвался Лешка.

Не глядя на Зденека, словно боясь коснуться его ненароком, он собрал свои тетради и быстро пересел на другую парту.

## 13

Как ни странно, а ГЕМ не сказал тогда больше ни слова Роберту. Он не вызвал его к директору, как грозился, и, хотя мы ждали каждый день, что Роберта вызовут, его так и не позвали. И ГЕМ молчал, словно воды в рот набрал.

— Испугался, — решил Лешка. — Понял, что неправ, и молчит.

Может быть, так оно и было.

Зато Зденек в тот же вечер объяснился с Валею. Он попросил меня вызвать ее на улицу из дому.

Был дождливый вечер, с Москвы-реки нескончаемо дул ветер. Валя вышла вместе со мной на улицу. Зденек подошел к ней.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал он.

— Нам не о чем говорить, — сказала Валя.

— Я тебя очень прошу, — сказал Зденек.

— Вы говорите, — вмешалась я, — а мне пора домой.

Но Валя не дала мне уйти.

— Если ты уйдешь, я тоже уйду.

Зденек махнул рукой.

— Оставайся, Катя, чего там. . .

Он несмело тронул Валю за рукав пальто.

— Прости меня, — через силу произнес он. — Я очень виноват перед тобой. . .

Она молчала. И я молчала тоже.

Зденек вздохнул и продолжал:

— Лилька увидела у меня твое письмо и выпросила, понимаешь, пристала, как репей, а я, понимаешь. . .

Валя спросила тихо:

— Все?

— Нет, — торопливо ответил Зденек. — Нет, не все. Я ее ненавижу, эту Лильку, честное слово, она провокатор, я ее знать больше не хочу!

Валины глаза блеснули.

— Врешь! — сказала она недоверчиво. — Видала я таких вот. И вообще я тебе не верю!

Но он знал, что она не видала «таких вот», что она больше всего на свете хочет верить ему, и он говорил, говорил, на чем свет стоит поносил Лильку и обещал никогда в жизни, никогда-никогда не говорить с ней ни слова.

И, конечно, Валя поверила ему. Поверила и простила.

Она снова стала улыбаться всему и всем. В порыве великодушия она, придя в школу, даже заговорила с Лилей, но Лилия отвернулась от нее.

А спустя день или два Зденек вновь помирился с Лилей и опять как привязанный ходил за нею, не видя и не слыша никого другого.

Не знаю, как бы сложились их отношения в дальнейшем, если бы Лиля не уехала. Ее отец, военнослужащий, получил назначение в Киев, и Лиля уехала вместе с ним.

Зденек ходил словно в воду опушенный. Все тетради и учебники его были испещрены инициалами «Л. О.». Каждый день он писал ей длиннющие послания и то и дело приставал к почтальону Тимофею Тимофеичу, нет ли ему писем.

Лиля, однако, не баловала его письмами. Потом и он стал писать ей все реже. И в конце концов переписка их так и погасла.

## 14

Мы все разъехались на лето, а Роберт оставался в Москве.

— Неужели ты никуда не поедешь? — спрашивали мы.

— Нет, — отвечал он. — Мне хорошо дома.

Он не сказал о том, что у тетки попросту не было денег отправить его куда-либо на лето. Она часто болела, и они едва-едва сводили концы с концами.

Правда, мать звала его к себе на дачу. Но он упорно отказывался. Ведь мать приглашала только его, а он не хотел надолго оставлять тетку одну.

Тайком от тетки он ходил на станцию Москва-третья, грузил там ящики с огурцами, черешней, яблоками.

Он ходил изо дня в день и однажды несказанно удивил тетку, отдав ей первые заработанные им деньги.

Как-то вечером, возвращаясь домой, он подобрал на улице щенка и принес его домой.

Щенок был препотешный, черный, лохматый, с белыми бровями и белым пушистым хвостом. Роберт назвал его Егоркой и оставил у себя.

Егорка рос не по дням, а по часам. К тому времени, когда мы вернулись в город, это был уже довольно большой пес, игривый и веселый, с удивительно общительным, компанейским характером. Он приветливо бросался к каждому, кто бы ни позвал его, но, само собой, больше всех любил своего хозяина. Стоило Роберту только свистнуть ему, и Егорка, визжа от восторга, уже летел навстречу со всех своих четырех лап.

Однажды наш старый почтальон Тимофей Тимофеич принес тетке Роберта какое-то письмо.

День был жаркий, и тетка позвала Тимофея Тимофеича в дом отведать свежего кваса. Старик был большой любитель

кваса и охотно отозвался на приглашение, оставив свою сумку на скамейке в палисаднике.

Он сидел за столом вместе с теткой и Робертом, блаженно попивая квас, и рассказывал о том, какой некогда выделявали квас и что нынешний перед тогдашним не идет ни в какое сравнение.

Случайно глянув в окно, тетка Роберта всплеснула руками:

— Никак, снег выпал!

Это было поистине необычайно. Над землей кружились белые крупные хлопья, а в небе стойко светило жаркое августовское солнце, и солнечные лучи обливали своим светом густую траву и желтеющие кусты акаций.

— Это не снег! — сказал Роберт, выбежав из комнаты.

Тимофей Тимофеич побежал вслед за ним. Кружились белые хлопья, то опадая на землю, то снова вздымаясь вверх, а возле скамейки лежал Егорка, держа обеими лапами сумку Тимофея Тимофеича и разрывая своими острыми зубами конверты и открытки.

Тимофей Тимофеич охнул и остановился, прижав руку к груди.

— Вот это да! — только и сказал он.

Роберт бросился к Егорке, вырвал у него сумку. Но было уже поздно — она была почти пуста. А кругом — на траве, на деревьях, на кустах акации — белели разорванные письма, почтовые переводы, открытки.

— Убью! — опомнившись, закричал Тимофей Тимофеич. — Убью проклятую собаку!

Он кинулся к Егорке, но хитрый пес мигом скрылся из глаз.

Два или три часа Роберт собирал письма. Иные залетели даже в соседние дворы.

Многие письма были разорваны в клочки. Егорка был неразборчив — даже конверты не пожелал сохранить.

Роберт собрал все, что можно. Потом сказал Тимофею Тимофеичу, окаменевшему от горя:

— Я сделаю все, как надо...

Целый день он ходил по домам, разносил письма — те, что хотя бы кое-как уцелели. Это было нелегко. Иные адресаты смеялись, а другие, их было куда больше, возмущались не на шутку, грозились жаловаться и даже швыряли разорванные конверты в лицо Роберту.

А потом Роберт пошел на почту и рассказал заведующему, как все случилось. Он сказал, что готов сделать все, что тре-

буется, только бы Тимофею Тимофенчу не попало, ведь это, в сущности, вовсе не его вина.

К счастью, заведующий почтой оказался добрым человеком и, главное, любителем собак. Он посетовал, поахал, а потом сказал Роберту, разводя руками:

— Ничего не поделаешь. Собака — существо хотя и мыслящее, да недостаточно разумное...

В конце концов все, как говорится, благополучно обошлось. Но с той поры старый почтальон уже никогда больше не заходил в дом к Роберту, а кричал, стоя за забором:

— Примите почту!

## 15

Постепенно, незаметно для себя, мы выросли.

Это проявлялось во всем: в наших рассуждениях, поступках, в отношении друг к другу.

И еще в том, что мы всё чаще думали, как жить дальше, что делать.

Многие наши сверстники уходили в ФЗУ или поступали на курсы по подготовке в вуз.

Иные шли работать. Первым ушел Роберт. Он не вернулся в школу после каникул — поступил на завод «Красный пролетарий» учеником токаря.

Маленький Лешка привык во всем подражать Роберту. Но его не приняли на завод — у него было слабое здоровье и рост такой, что в трамвае контролер иной раз забывал спрашивать у него билет.

Лешка обижался, первый говорил контролеру:

— Почему вы не проверяете мой билет?

Поначалу Лешка переживал, что его не приняли на завод. Потом с горя и, должно быть, неожиданно для самого себя стал хорошо учиться.

Впервые тетради с его сочинениями демонстрировались в роно как лучшие. Даже неумолимый ГЕМ цедил сквозь зубы:

— У этого парня голова работает!

Это была наивысшая похвала в неподатливых устах ГЕМы.

Как и раньше, мы собирались порой в Донском монастыре. Мы — это Лешка, Эденек, Валя и я. Иногда к нам присоединялся Роберт.

Вот кто возмужал на диво! И, в сущности, за самый корот-

кий срок. Лицо его, мягко очерченное, вдруг как-то определилось, стало мужественнее, значительнее. Большие, красивые руки стали темными и жесткими, на пальцах появились ссадины.

Даже голос звучал по-другому, но заикался он по-прежнему и так же, как и раньше, часто моргал глазами.

Он тосковал по школе, мы все это чувствовали. Он не хотел показывать вида, и все-таки тоска по школе вдруг прорывалась в нем: в звуке голоса, в неожиданно прозвучавшем вопросе, во взгляде, брошенном исподтишка.

Он спрашивал:

— А что, в физкультурном зале по-прежнему сломан турник?

— Да, — отвечали мы.

— И в физическом кабинете до сих пор разбито стекло? И библиотека, само собой, постоянно закрыта на учет?

— Да, — отвечали мы. — И стекло до сих пор не вставлено, и библиотека постоянно закрыта. . .

Роберт смеялся, но в словах его, в самом смехе звучала тоска, тоска по сломанному турнику, по разбитому стеклу в физическом кабинете, по библиотеке, аккуратно закрытой на учет.

Однако он должен был работать. Иного выхода не было. Тетка его уже вышла на пенсию. Им просто нельзя было прожить на ее пенсию, а у матери Роберт не хотел брать и копейки.

Из года в год старшеклассники нашей школы выпускали рукописный журнал, который назывался «Нескучный сад».

Журнал выпускался три раза в год, в конце каждой четверти. Летние месяцы не шли в счет.

Это была толстая общая тетрадь, где все страницы были написаны превосходным разборчивым почерком.

Сотрудничать в журнале разрешалось начиная с седьмого класса по десятый. А главным редактором обычно был ученик десятого класса.

Здесь публиковались стихи, рассказы, очерки, сатирические заметки. А между страниц были вклеены вкладыши-рисунки.

Журнал выдавался каждому классу ровно на неделю. В течение недели его прочитывали от корки до корки и потом давали читать другому классу.

Неписаной традицией школы была передача журнала. Во время выпускного вечера главный редактор, заканчивающий

десятый класс, торжественно передавал журнал девятикласснику, который уже заранее был намечен главным редактором и должен был начать работать с будущего года, когда он перейдет в десятый класс.

И новый главный редактор, повернувшись лицом к залу, читал по бумажке готовый текст, обещая хранить школьные традиции, следить за тем, чтобы журнал «Нескучный сад» был интересным, занимательным, чтобы помещал самые лучшие материалы и помогал учителям по-коммунистически воспитывать учащихся.

Я расскажу о том, как мы, учась в десятом классе, начали выпускать журнал.

Главным редактором была избрана наша лучшая ученица Валя Протасова.

До сих пор помню взволнованное, словно бы разом возмужавшее лицо Вали, когда она на выпускном вечере десятых классов стоит на сцене, прижимая к себе журнал обеими руками.

Она смотрит прямо перед собой и говорит звонким, четким голосом:

— Я обещаю хранить наши традиции. И постараюсь, чтобы журнал «Нескучный сад» был интересным, чтобы им зачитывались все ребята, чтобы просто из рук его хватали...

Она осмелела, увлеклась и, очевидно, забыла о тех официальных, приевшихся словах, что до нее говорили обычно все редакторы.

Она говорит о планах нашего журнала, о том, как сделать каждый номер запоминающимся, чтобы все его номера можно было перечитывать как наиболее полюбившиеся книги, чтобы в каждом номере был свой «боевик», чтобы побольше было хороших рассказов, заметок, стихов, научных сообщений.

Она так и сказала «научных сообщений», не обращая никакого внимания на приглушенные смешки десятиклассников.

Одни они слушали Валью со снисходительным вниманием старших. Должно быть, они ощущали себя уже такими далекими от школы, от школьных дел, а мы, те, кому еще предстояло учиться, казались им маленькими, может быть, смешными.

Первый номер «Нескучного сада» вышел в декабре. На последней странице стояла подпись Вали — очередного главного редактора. Рисунки для журнала сделала я и еще один мальчик из восьмого класса.

Этот номер до сих пор хранится у меня. Иногда я перелистываю страницы, пожелтевшие, ставшие тонкими и хрупкими от времени.

И, кажется, снова лицом к лицу встречаюсь со своей юностью, вновь подхожу вплотную к той, теперь уже непреодолимой черте, за которой светит солнце далеких лет, звучат давно умолкшие голоса, виднеются лица, которых уже никогда не придется увидеть.

Вот стихи Зденека. Внизу стоит подпись «Садко», это был его псевдоним.

Мы становимся староваты.  
Что ж, это закономерно.  
Разве кто-нибудь виноват  
В том, что время летит серной?  
Но приходит пора морщин,  
И забот, и усталости горькой.  
Стану я пожилым мужчиной,  
В душе молодым только.  
Но среди треволнений жизни,  
Среди забот и печалей,  
Сквозь времени призму  
Вспомню тебя, Валя!  
Суждено ли встретиться снова?  
Не знаю.  
Но даю тебе слово —  
Ты для меня родная...

Это было его первое и последнее стихотворение, посвященное Вале.

Никогда не забуду радостных, блестящих глаз Вали, когда на редколлегии она прочитала эти стихи.

Она никак не могла ожидать подобных стихов. Она искренне считала себя незаметной, она всегда тушевалась перед ним, и вдруг он написал такие, как ей казалось, трогательные, душевные строки.

Она прочитала стихи про себя еще раз, другой, третий, словно не верила своим глазам, словно никак не могла оторваться от этих строк. Потом смущенно опустила глаза, спросила, глядя в стол:

— Как ваше мнение? Подходит?

Я сказала то, что и следовало:

— Подходит.



Мы шли с ней вместе домой. Был морозный декабрьский вечер, снег сыпал с неба, у Вали обледенели ресницы, стали тяжелыми и, может быть, потому какими-то грустными, волосы на висках побелели.

Задумчиво глядя перед собой, она говорила:

— Вот ты считаешь любовь предрассудком...

— Ничего я не считаю, — прервала ее я.

— Ну не ты, так Гриша. Он говорит: любовь — предрассудок, нельзя любить одного человека, когда миллионы трудящихся томятся в тисках капитала. Поэтому надо подавлять в себе все посторонние чувства и уметь ставить общественные интересы над личными.

— Да, — сказала я. — Он всегда так говорит.

— А я с ним и не спору, — покорно отозвалась Валя. — Я всей душой за общественные интересы, за мировую революцию, но разве... — Она замялась. — Разве нельзя быть революционером и любить какого-то одного человека?

В наступивших сумерках глаза ее казались блестящими, словно от непролитых слез.

— Вот Ленин. Он же был самый великий на свете человек, и он любил Крупскую, он всю жизнь ее любил.

Я спросила ее:

— Зденек любит тебя?

Она задумалась. Должно быть, впервые ясно и трезво представила себе отношение к ней Зденека, не сочиняя его, как обычно, не обволакивая придуманными чертами.

— По-моему, он никого не может любить, — сказала она. — Не может, и всё! Знаешь, есть такие люди, они всё принимают, но дать ничего не могут.

— Он такой, — согласилась я с нею. — Именно такой.

— Ну и пусть! — воскликнула она. — Пусть так! Я-то люблю, и для меня в одном этом уже радость, я благодарна ему не только за эти стихи, а за то, что он есть и я его люблю. Люблю, и точка! И я знаю, он написал эти стихи не потому, что любит меня, а потому, что я люблю его. И ему теплее жить оттого, что его любят. И пусть будет теплее...

Вот такая она была, моя подруга, толстая, неуклюжая Валя, лучшая наша ученица, главный редактор «Нескучного сада»...

Я перелистываю журнал дальше. Каждая страница связана с каким-то давним, непогасшим воспоминанием.

Вот очерк самой Вали о московских улицах и переулках, о том, почему они называются так, а не иначе, вот мои рисунки,

а вот стихи Лешки. Он очень стеснялся показывать их. Он тайно от всех давно уже писал стихи и прислал их по почте в школу, в адрес нашего журнала, подписав по примеру Зденека псевдонимом.

Псевдоним он избрал себе очень громкий — «Пламенный».

Мы прочитали эти стихи на редколлегии и решили не публиковать их. Тем более, что автор был нам неизвестен.

Но однажды, дня за три до выхода журнала, Лешка подошел ко мне и, надрывно кашляя, стал расспрашивать, какие материалы появятся в журнале.

Я сказала ему, что у нас будут стихи, очерки и рассказы.

Лешкино лицо оживилось. Он сразу перестал кашлять.

— Чьи стихи? — выпалил он. — Пламенного?

Я посмотрела на его пылающее лицо и неожиданно для себя ответила:

— Да. Пламенного.

Мы немного поспорили с Валей. Ей стихи Лешки решительно не нравились, и потом она считала, что просто уже поздно помещать их — номер вот-вот должен выйти.

Но я уговорила ее. Мне было очень жаль Лешку, и в конце концов даже в настоящих журналах очень часто помещают плохие стихи. Пусть их потом нещадно ругают, но все-таки их же печатают...

А Лешкины стихи, хотя и неуклюжие, написаны от души, очень искренне, и нельзя Лешку отбивать от журнала. Ведь даже у самых лучших поэтов первые стихи зачастую получались неудачными. И Лешка, кто знает, может, когда-нибудь распишется, и покажет себя, и станет великим поэтом. И тогда спросят:

«Кто первый напечатал его?»

И он скажет:

«Школьный журнал».

И все будут говорить, что мы первые, еще в школе, угадали в Лешке великого поэта...

Одним словом, я потратила пуды красноречия и добила-таки своего: стихи были опубликованы.

Это были плохие стихи. Все, кто читал их, понимали, что они из рук вон плохие, и только Лешка не понимал ничего. Он полагал, что никто не разгадал его псевдоним, и с равнодушным, отсутствующим видом подходил к читавшим журнал, спрашивая небрежным тоном:

— Интересно?

— В общем, неплохо, — ответил ему как-то Зденек. — Есть даже просто интересные вещи.

— Какие? — спросил Лешка, с трепетом ожидая ответ. Зденек бросил на него медленный взгляд из-под ресниц.

— Разные. Стихи вот только очень неудачны...

— Какие? — упавшим тоном спросил Лешка.

Зденек рассмеялся.

— А ты не догадываешься?

Псевдоним Лешки ни для кого не остался секретом.

Даже самые маленькие дразнили его:

Мы с вами, товарищи за границей,

Которые будут с буржуями биться.

Это были заключительные и еще не самые плохие строчки Лешкиного стихотворения.

Больше Лешка не давал нам свои стихи. А когда Зденек как-то спросил его, пишет ли он стихи, Лешка с важностью ответил:

— Для такой ерунды у меня нет времени.

— Врешь! — неумолимо сказал Зденек. — Просто у тебя ничего не получается...

Не найдя что ответить, Лешка предпочел обидеться.

## 16

Однажды, это было в Сокольниках, Гриша Четверг сказал, что уезжает от нас.

Помню золотой, октябрьский, не по-осеннему теплый день. Мы бродили по просекам Сокольнического парка. Роберта не было — он работал в первую смену и обещал приехать от двух до трех на Оленью Просеку.

Он приехал в половине четвертого. Приехал не один — с Гришей.

— Здравствуйте и прощайте! — с места в карьер сказал Гриша.

— Почему «прощайте»? — спросили в один голос я и Валя.

— Объясню, не спешите.

Он прилег на траву, пахнущую тлеющими осенними листьями, заложил руки за голову.

— Так куда же ты уезжаешь? — спросила Валя.

— На строительство железной дороги в Среднюю Азию.

— Вот оно что... — пробормотал Лешка.

— Не могу долго на одном месте, — сказал Гриша. — Мне в райкоме сказали, там люди очень нужны, вот я и решил... Филармония...

Он сощурил свои выпуклые серые глаза.

— Сегодня шел из райкома и думал о себе. Обычно как-то нет времени о самом себе думать, а тут иду и думаю: вот прожил на свете двадцать семь лет, сумма солидная, как-никак разменял тридцатку, а что я сделал? Чем помог революции?

— Ты же строил Комсомольск-на-Амуре, — сказал Лешка.

— Строил. А до этого еще в Полесье жил, избачом работал. Кулаки в меня стреляли. Только им, как видите, не повезло.

Лешка осторожно взял его за руку.

— Не уезжай, Гриша...

Он сказал серьезно:

— Надо. Я не поеду, другой откажется, а кто строить будет?

Он был прав, и все-таки было очень жаль расставаться с ним. Мы привыкли к нему, привыкли к его голосу, к бесчисленным пьесам, к любимой поговорке «филармония».

Казалось странным, что больше не придется видеть всегда чем-то взволнованного, чудаковатого, немного смешного, удивительно доброго и бескорыстного нашего друга.

Он уехал через несколько дней. Уехал радостный, счастливо возбужденный, уже далекий от нас. В его чемодане, обвязанном шпагатом, наверное, кроме книг, не было ничего. Впрочем, он забрал с собой все свои пьесы.

Мы провожали его. Мы бежали за вагоном. Он стоял на подножке, махал рукой и кричал нам какие-то слова, которые заглушались стуком колес.

Таким он запомнился нам: веселый, стоит на подножке вагона, ветер треплет его черные жесткие волосы, и он кричит что-то неслышное, уносимое ветром.

## 17

С Нескучным садом связаны многие годы моей жизни.

Когда я была совсем маленькой, эти два слова «Нескучный сад» казались мне сияющими, окрашенными в веселый, золотистый цвет. Нескучный сад! Там всегда радостно, бьют фонтаны, цветут цветы, летают чудесной окраски птицы.

Вместе с друзьями я бегала здесь на лыжах, и встречный ветер свистел в ушах, и с деревьев слетала снежная пыль. Я каталась летом на лодке мимо Нескучного, и знакомые деревья как бы кланялись издали: «Не забывай нас».

И осенью мы собирали здесь букеты из листьев: красных, желто-лимонных, зеленовато-коричневых, царапавших руки сухим, жестяным прикосновением. И в первые весенние дни, едва только лед сходил с Москвы-реки, мы прибегали в Нескучный сад. Деревья стояли еще голые, пахло талым снегом, прошлогодней травой. И все время хотелось петь оттого, что скоро лето...

Однажды мы решили встречать Новый год в Нескучном.

Ровно в одиннадцать мы вышли на лыжах на Москву-реку и пошли друг за другом по направлению к Нескучному саду.

Было морозно. Даже звезды в далеком небе словно бы поскрипывали и дымились от мороза.

Острые тени ложились по обе стороны лыжни. Мы вышли на берег, дошли до Нескучного. Тихие деревья, щедро обсыпанные снегом, расступились, давая нам дорогу.

Мы воткнули палки в снег.

— До чего хорошо мы придумали! — сказала Валя. — Взяли да и пошли на лыжах. Все люди сидят в духоте, жрут, пьют, кричат всякие глупые тосты, а мы один на один с природой...

Зденек посмотрел на свои часы. Единственный из нас он носил на руке часы: его отец переделал старые карманные часы на ручные и подарил их сыну.

— Хотя ты и не любишь глупых обычаев и тостов, однако время, — сказал он. — Без трех минут двенадцать...

Мы невольно взглянули на небо. Кто знает, может быть, в этот самый миг, в канун Нового года, небо должно вдруг стать иным, не похожим на себя.

Нет, все было так, как всегда. Мы подняли палки вверх и ударили одна о другую, как бы чокаясь. И этот негромкий деревянный стук внезапно нарушил тишину: громко каркнула одинокая ворона, ей отозвалась другая, третья...

— С Новым годом! — заорал Лешка.

— А теперь давайте, — сказал Роберт, — давайте будем желать друг другу все хорошее.

— Да, так полагается, — сказала я.

Зденек облокотился о палки.

— Что было бы, если бы сбывались все пожелания?

— Какие? — спросила Валя. — Плохие или хорошие?

— Всякие.

— Если будут сбываться хорошие, тогда все люди будут счастливыми, — резонно сказала Валя.

Зденек иронически посмотрел на нее.

— До чего будет скучно жить...

— Почему? — спросила я.

— Потому что все будут счастливы, больше желать уже нечего, стремиться не к чему, тоска зеленая...

Лешка нагнулся, слепил снежный шарик.

— А по-моему, это очень хорошо, когда все люди счастливы.

Размахнувшись, он далеко забросил снежок.

Кто-то из нас предложил разжечь костер.

Мы расчистили снег, чистили долго, старательно. И наконец образовался небольшой, холодно поблескивающий круг.

Потом наломали еловых ветвей, обложили газетой, которая нашлась у Роберта.

И вот вспыхнул костер.

Языки пламени освещали наши лица. И мы, не сговариваясь, стали прыгать вокруг костра и петь кто что хотел.

Далеко по пустынной заснеженной реке раздавались наши голоса.

А потом Лешка стал гадать. Он брал каждого за руку и предсказывал, что кого ждет. Мне он предсказал, что я буду председателем звероводческого колхоза на Дальнем Востоке. Зденеку, что он будет преподавателем танцев.

— Всю жизнь мечтал, — сказал Зденек.

Вале Лешка предсказал, что она, если не сломает ноги, будет балериной Большого театра и когда-нибудь станцует «Спящую красавицу».

— А что же ты мне нагадаешь? — спросил Роберт, протягивая ему свою руку.

И Лешка, не взяв его руки, ответил:

— А ты будешь, кем захочешь. Ученым, или летчиком, или капитаном дальнего плавания.

Зденек рассмеялся, и смех его показался мне натянутым.

— Глядите-ка, всем он назначил, кто кем будет, а Роб, выходит, будет сам выбирать себе будущее!

— Да, — сказал Лешка, — Роб сам выберет то, что ему больше всего понравится!

— Не спорь с ним, — примпрительно сказала Валя. — Сердцу все равно не прикажешь.

И Лешка, обрадованный ее поддержкой, повторил:

— Правильно. Сердцу не прикажешь!

Между тем мороз все усиливался. У меня до того замерзли ноги, что я просто перестала их ощущать. Лешкины брови стали совершенно седые, и было смешно смотреть на его мальчишеское лицо со стариковски белыми колючими бровями.

— Пошли ко мне, — предложила Валя. — У нас печка истоплена, тепло, мама пироги с капустой напекла.

И мы повернули назад к городу. Мы мчались один за другим по дорожкам Нескучного, а деревья, такие понятные и знакомые днем, казались таинственными громадами в неярком свете новогоднего месяца.

### ВМЕСТО ЭПИЛОГА

До сих пор помнится ясно, словно было это совсем недавно, как в субботу двадцать первого июня, в самый канун войны, мы впервые после окончания школы вновь собрались все вместе.

— Отныне этот день будет днем традиционной встречи учащихся, — сказал, открывая вечер, директор школы Виталий Валерьянович.

Цвели тополя за окном актового зала, назойливые пушинки влетали в окна, цеплялись за волосы, оседали на ресницах. Разноцветные фонари сияли между ветвей во дворе.

Мои друзья выглядели необычно празднично. Может быть, потому, что кругом все дышало непринужденностью общего семейного торжества. И все были очень веселы, вдруг вновь ощутив себя много моложе.

Валя пришла в белом шелковом платье, очевидно специально сшитом к этому дню. Красивой Валу трудно было назвать. Она никогда не была красивой, но лицо ее дышало здоровьем, глаза сияли радостью. И весь вечер она танцевала со Зденеком.

Под утро мы отправились в Нескучный сад. Казалось, никогда еще деревья не были такими цветущими, а Москва-река такой спокойной и величавой.

Мы пели во все горло:

Если завтра война,  
Если завтра в поход...

Пели мы весело, легко и лихо произнося хорошо знакомые слова.

Могли ли мы думать, что пройдет несколько часов, всего лишь несколько часов, и слово «война» обернется для каждого из нас своим первозданным грозным звучанием?

И вот прошли годы, и снова двадцать первого июня мы встретились в старых, знакомых стенах.

Мы старались не пропускать этот день. Конечно, в войну было не до встреч. Но, когда окончилась война, редкий из нас, оставшихся в живых, забывал о дне традиционной встречи.

Еще за несколько дней в «Вечерке» появлялось короткое извещение:

«День встречи учащихся 29-й школы будет 21 июня».

И снова мы вместе. Ходим по коридорам, сидим за партами в классах, где прошло наше детство, выбегаем во двор, в котором обычно проводили перемены.

Мои друзья сильно изменились за эти годы. Должно быть, и я изменилась, но по себе никогда не видно. Однако, когда я вижу седые волосы Роберта или шрам на лице Вали, когда я слышу стук протеза Виталия Валерьяновича, я снова думаю о том, что прошедшие годы ни для кого из нас не прошли даром.

Мы сидим в учительской на широком диване, обитом потертой, зеленого цвета тканью. Верхний свет потушен, горит настольная лампа под коричневым колпаком, сделанным из плексигласа.

Виталий Валерьянович вытянул здоровую ногу; откинувшись на стуле, задумчиво поглядывает на нас.

Как и прежде, он — директор школы. Сразу же после госпиталю вернулся в Москву и опять в свою школу. Он постарел, весь как бы ссохся; ходит он с палкой, вместо правой ноги у него протез, и он никак не может к нему привыкнуть.

— Эх, — замечает Зденек, — нет моего старика, он бы вам такой какой-нибудь хитроумный шагатель приспособил!

Зденек работает в заводской многотиражке. Он пополнил, обрызг, красивое лицо его несколько расплылось.

Жена его немного старше, чем он. Я как-то видела ее, и она мне не понравилась. Может быть, потому, что я хотела бы на ее месте видеть Валю. У них двое детей.

Валя — главный инженер на том же заводе. Недавно защитила диссертацию. Она так и не вышла замуж. Жизнь ее заполнена работой и Зденеком, его делами, его семьей, его детьми. Она любит все, что имеет какое-то отношение к нему: его газету, его детей, даже его жену.

Я смотрю на Роберта, на его большие, красивые руки. Как



и когда-то, в давние времена, Роберт немного заикается. Я знаю, он был ранен и потом после ранения, когда его признали ограниченно годным, стал санитаром. Он был отличным санитаром, очень терпеливым, выносливым. А после окончания войны решил стать врачом. Ему было нелегко: он работал и учился на вечернем отделении медицинского института, а теперь работает врачом в маленьком приволжском городке. В Москву он приехал специально на встречу друзей.

Каждый раз, когда он приезжает, он заходит к родителям Лешки. Они живут все там же. Отец Лешки вернулся с фронта, и ему несколько раз предлагали новую квартиру со всеми удобствами. Но ни он, ни тетя Паша не захотели переезжать. Здесь жил Лешка, и сюда до сих пор приходим мы, его товарищи.

Вот и сегодня, до того, как отправиться в школу, мы побывали там.

Все как было: Лешкины книги лежат на полках в том же порядке, как лежали при Лешке, и на комодке альбом с марками, который Роберт подарил ему когда-то. И мы говорим о Лешке так, словно он где-то недалеко, уехал ненадолго и скоро вернется.

Должно быть, никогда не забыть мне февральский морозный день 43-го года, когда я пришла навестить тетю Пашу, мать Лешки.

Возле холодной печки-временки лежали ровные кубики дров, на подоконнике стояла тарелка с нехитрой снедью военного времени — паштетом из белковых дрожжей.

Тетя Паша встретила меня необычно, так, словно никогда до этого не видела. Она сидела за столом и, не глядя на меня, долго перебирала пальцами бахромки скатерти. Потом сказала: — А Лешка-то, знаешь...

Я похолодела. Казалось, сердце сперва замерло, потом принялось вдруг бурно и часто стучать.

Всего лишь несколько дней назад я получила от него письмо. Тогда я побежала к тете Паше, показала ей письмо, и мы вместе читали его.

Письмо было коротеньким. Лешка писал, что чувствует себя превосходно, надеется увидеть меня, когда придет домой. Их часть должна была отправиться на переформирование через Москву. И Лешка рассчитывал, что сумеет побыть дома несколько часов, а может, даже и целые сутки.

Я все никак не могла ответить ему, откладывала со дня на день.

И вот простые, обжигающие слова.

— Когда?.. Когда это случилось? — спросила я.

— Вчера получила. — Голос у тети Паши был тусклый, словно бы погасший. И слова она произносила нехотя, как бы через силу. — Хотела к тебе пойти сказать, да ты сама...

Она встала, вынула из комода письмо.

— Читай...

Письмо было подписано командиром части, в которой служил Лешка. Строчки расплывались перед моими глазами:

— «Смертью героя... Мы никогда не забудем его...»

Я положила письмо на стол.

— А вчерашний день вдруг от самого Лешки письмо пришло, — все так же неохотно, как бы преодолевая невидимое препятствие, продолжала тетя Паша. — Вечером... Я было глазам не поверила...

— От Лешки? — не выдержала я.

— От него. Только оно давно написанное. Долго шло очень.

Глаза ее были совершенно сухи. И голос звучал почти бесстрастно. И только пальцы безостановочно свивали и расплетали бахромки скатерти.

Тихий, как бы приглушенный свет настольной лампы располагает к задушевному, откровенному разговору. Весь вечер мы пели, танцевали, спорили о чем угодно, а теперь беседуем. И говорим все больше о прошлом.

«Что пройдет, то будет мило...»

И в самом деле, прошлое представляется нам безоблачно — ясным, греющим душу, даже наши недолгие ссоры, даже контрольные письменные у беспощадного ГЕМа.

Кстати, о ГЕМе. Перед самой войной он вышел на пенсию. В войну он не эвакуировался и стал снова ходить в школу, где был оборудован госпиталь. ГЕМ организовал в госпитале математический кружок для раненых, задавал им интересные, на его взгляд, задачи, рассказывал о различных оригинальных решениях теорем и, по слухам, читал иногда раненым стихи Пушкина.

Раненые привязались к нему, называли его «Папаша», угощали табакком. И ГЕМ, отроду не выкуривший ни одной папиросы, стал заядлым курильщиком.

— Я бы хотел повидать его, — замечает Роберт.

— А я — нет, — говорит Валя. — Вот уж кого мне никак не хочется видеть...

Зденек молча взглядывает на нее. Может быть, оба вспоминают о том давно позабытом всеми, кроме них двоих, случае с письмом Вали, попавшем в руки ГЕМа?

Мы вспоминаем о делах давно минувших дней. То и дело слышится одинаковое: «А помнишь?»

Перебивая друг друга, говорим о походах, о наших сборах, устраиваемых Гришей Четвергом, о его знаменитых пьесах.

А разве можно позабыть первые дни открытия метро, когда мы подолгу катались в новеньких поездах и все никак не могли достаточно насладиться!..

Роберт обращается ко мне, смеясь:

— А помнишь, как ты позвонила в «Известия»?

Еще бы не помнить! Мы все тогда говорили только об одном и том же — о спасении челюскинцев. Полосы газет были посвящены описанию жизни героев, рассказам о летчиках, спасавших челюскинцев. А я позвонила тогда в «Известия» и спросила: «Спасли ли собак, которые зимовали вместе с челюскинцами?» И мне ответили: «Конечно, спасли»...

— А помнишь, Роб, как ты дарил сны? — спрашивает Валя.

Улыбка загорается в глазах Роберта.

— Дела давно минувших дней...

— Вот уж о какой чепухе не стал бы вспоминать, — солидно замечает Зденек.

Валя качает головой:

— Разве это была чепуха?

Я снова вспоминаю о Лешке:

— Лешка считал, что ты, как никто, умеешь дарить сны.

— А теперь он дарит здоровье людям, — замечает Виталий Валерьянович.

Роберт не любит говорить о себе, но мы знаем, он организовал первую в их районе бригаду реаниматоров. Он возвращает к жизни людей, обреченных смерти.

— Ничего в этом такого особенного нет. — Роберт неохотно роняет слова. — Профессор Неговский еще в сорок четвертом впервые применил метод артериального нагнетания крови и таким образом оживлял людей, находившихся в состоянии биологической смерти, погибших от шока, от потери крови, от сильных ранений...

Он обрывает себя. Должно быть, опять вспоминает о Лешке. Если бы можно было оживить нашего Лешку!

На рассвете мы идем в Нескучный сад. Холодные утренние

лучи чуть золотят верхушки деревьев, и Москва-река кажется совершенно розовой.

День обещает быть жарким. Мы молча стоим на гранитном берегу и смотрим на спокойные воды реки.

— Теперь до будущего года, — говорит Роберт.

Валя говорит:

— Давай на прощанье подарим друг другу что-нибудь на память!

— Что, например? — спрашивает Роберт.

— Не знаю.

Она думает. Лицо у нее становится сосредоточенным, почти сердитым, как когда-то на контрольной письменной по математике.

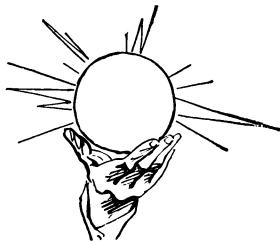
— Придумала, — говорит она. — Я подарю тебе Земляной вал, Сокольники и Калужскую улицу. Поедешь к себе, вспомнишь о них, сразу и обо мне тоже вспомнишь...

— Красивые названия, — замечает Роберт. — Самые что ни на есть московские — Сокольники, Земляной вал...

Он кладет Вале руку на плечо.

— А я подарю тебе Нескучный сад весь целиком, хочешь?

— Хочу, — серьезно говорит Валя.



## К ЧИТАТЕЛЯМ!

*Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.*

---

Д л я с т а р ш е г о в о з р а с т а

*Уварова Людмила Захаровна*

### НЕСКУЧНЫЙ САД

Ответствен. редактор Г. В. Быстрова. Художеств. редактор Е. М. Гуркова.  
Технич. редактор С. Г. Маркович. Корректоры Н. М. Кожемякина и  
К. И. Петровская.

Сдано в набор 14/X 1964 г. Подписано к печати 25/XII 1964 г. Формат  
86X84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 5. Усл. печ. л. 4,56. (Уч.-изд. л. 4,69). Тираж 50 000 экз.  
ТП 1965 № 345. А08727. Цена 24 коп.

Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1.  
Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государ-  
ственного комитета Совета Министров РСФСР по печати.  
Ленинград, 2-я Советская, 7. Заказ № 472.





